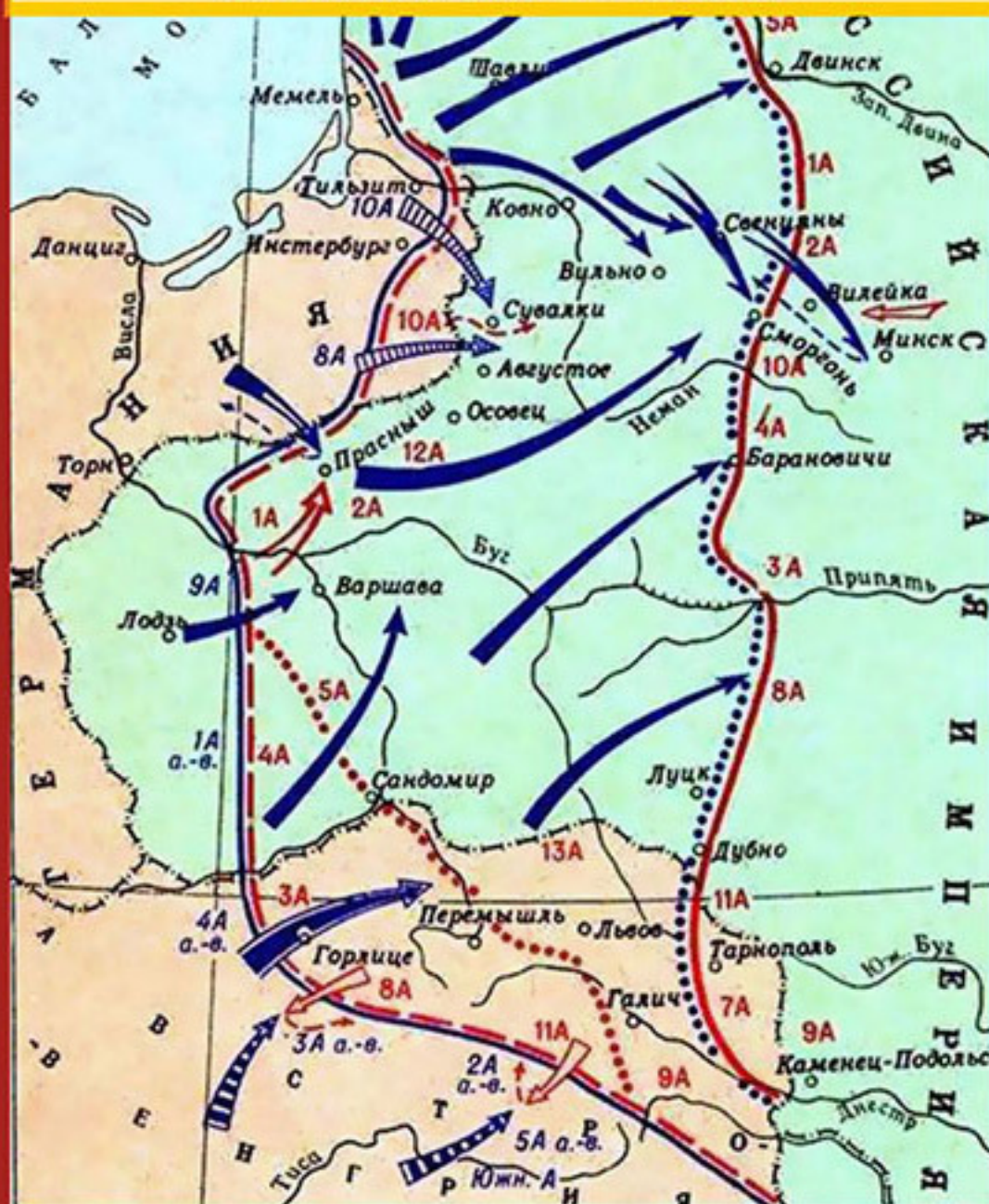


100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ



С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Зауряд-полк
Лютая зима

Преображение России

Сергей Сергеев-Ценский
Зауряд-полк. Лютая зима

«ОМІКО»

1934, 1936

Сергеев-Ценский С. Н.

Зауряд-полк. Лютая зима / С. Н. Сергеев-Ценский — «ОМКО», 1934,1936 — (Преображение России)

События в романе «Зауряд-полк», входящем в эпопею «Преображение России» известного русского советского писателя С. Н. Сергеева-Ценского (1875–1958), происходят в первый год мировой войны в ополченческой дружине Севастополя. «Лютая зима» рассказывает о том же полке (бывшей дружине), который участвует в военных действиях в Галиции зимой 1915/16 года.

© Сергеев-Ценский С. Н., 1934,1936

© ОМКО, 1934,1936

Содержание

Зауряд-полк	5
Глава первая	5
Глава вторая	21
Глава третья	34
Конец ознакомительного фрагмента.	40

С.Н.Сергеев-Ценский

Зауряд-полк. Лютая зима

Зауряд-полк

Глава первая Миллионы

I

Только что кончился первый месяц мировой войны, когда в канцелярии одной из ополченских дружин, расположенных в Севастополе, с утра сошлись: заведующий хозяйством подполковник Мазанка, командир роты, поручик Кароли, адвокат из Мариуполя, грек, и недавно прибывший в дружину, назначенный начальником команды разведчиков, прапорщик Ливенцев, призывом в ополчение оторванный от работы над диссертацией по теории функций.

В приказе по дружине было сказано, что они трое в этот день должны были, как члены комиссии, обревизовать месячную отчетность эскадрона, хотя и причисленного к дружине, но стоящего где-то в отделе, а где именно – этого не мог объяснить им командир дружины полковник Полетика. Впрочем, этот странный человек редко что мог объяснить, и теперь он, коротенький, бородатый, голубоглазый, близкий к шестидесяти годам, но больше рыжий, нежели седой, сидя у себя за столом в кабинете, говорил им:

– Так вот, красавцы, вы уж там смотрите, наведите порядок у этого ротмистра... вот черт, – совсем забыл, как его фамилия!.. Лукоянов, а? Или Лукьянов? С усами такими он черными.

– Лихачев, кажется, – сказал Мазанка.

– Ну вот – конечно... конечно, Лихачев!.. Вы там хорошенько... Кстати вот тут у вас один красавец – математик. Он сосчитает, что надо. На Северной стороне это... эскадрон этот... Туда поедете...

– На Северной? Я что-то не видал на Северной кавалерии... – качнул серой от проседи головой долгоносый Кароли, очень загорелый, почти оливковый, приземистый и излишне полный.

– На Северной артиллерия, – сказал Мазанка, – а кавалерия наша, кажется, в Балаклаве...

– Вот, черт знает, «кажется». Заведующий хозяйством должен знать, а не то чтобы «кажется»! В Балаклаве же, конечно, а не... не на этой, как ее называют?... На Северной! Не на Северной, нет, а, разумеется, в Балаклаве.

И даже как будто рассердился немного Полетика, а Ливенцев, еще не привыкший к нему и удивленно его наблюдавший, с наивностью кабинетного человека, имеющего дело с точными и строгими рядами формул и цифр, поднял брови, присмотрелся внимательно к своему командиру и сказал весело:

– Вообще, господин полковник, этот таинственный эскадрон надо во что бы то ни стало разыскать и... распечь за то, чтобы он не прятался!

Высокий, с подстриженной бородкой, еще не старый, темноволосый, говоривший певучим тенором, единственный из трех, красавец Мазанка посмотрел на Ливенцева неодобрительно, но Полетика думал, видимо, о другом и даже не расслышал того, что сказал этот худо-

щавый, но крепкий, со стремительным профилем прапорщик, он копался в это время в бумагах и бормотал:

– Шоссе... шессо... шессб... Сколько там шессо? Двенадцать верст?.. До Северной... то есть до Балаклавы... Возьмите линейку, кучер вас довезет.

– А когда вернемся – вам доложить? – спросил Мазанка.

– Доложить? Гм... Доложить-доложить, – а что тут такое докладывать? Напишите рапорт по форме, – там посмотрите, как это пишется, по какой форме... Доложить!.. Будто там вы у него обнаружите что-нибудь, у этого ротмистра... Лоскутова... Я его видел, помню... Усы такие длинные, черные... Ну, идите, черт возьми, что же вы стоите?.. Куда-то девал пенсне, а без пенсне я как... как баба без юбки...

– Вот пенсне! Под бумагами, – подал ему пропавшее пенсне поручик Кароли, и все вышли из кабинета, а прапорщик Ливенцев, выходя, любопытно обернулся на этого командира тысячи человек ополченцев и шепотом спросил Кароли:

– У него что такое? Размягчение мозга?

На что Кароли, – он был тоже веселый человек, – ответил:

– Накажи меня бог, – его надо сделать начальником штаба при верховном главнокомандующем на место генерала Янушкевича!

Канцелярия была унылая, насквозь прокуренная комната, дощатой перегородкой отгороженная от остального длиннейшего каменного сарая, принадлежавшего порту. И столы и скамейки в канцелярии были кое-как сколочены из плохо оструганных досок, причем больше всего привлекла внимание Ливенцева в первый день, как он здесь появился, надпись крупными, старательными готическими буквами на деревянной перегородке: «Приказист», и под этой надписью другая, на спинке какого-то подобия стула: «Стул приказист». Это странное слово очень смешило Ливенцева.

Ополченцы за перегородкой размещались просто на полу, на соломе. Ходили они в своей одежде; винтовок им не выдавали: были только учебные, служащие для практики в разборке и сборке, и то не трехлинейки, а берданки. Впрочем, усиленно говорили в штабе крепости, что скоро придут откуда-то японские винтовки времен русско-японской войны. Ввиду строжайшего запрещения каких бы то ни было отпусков по три-четыре человека из роты пропадали ежедневно в самовольных отлучках, и Ливенцеву приходилось производить каждый день по несколько дознаний и изобретать для провинившихся ополченцев обстоятельства, смягчающие их тяжкую вину, так как уходили отцы семейств, больше чем сорокадвухлетние степенные дяди, схваченные мобилизацией на полях и не успевшие распорядиться по хозяйству. Они оборачивались за несколько дней, сами понимая, что уж раз запрещено, надо спешить, и умоляюще глядели в глаза Ливенцеву, давая свои показания.

С крутого берега над портовыми сараями видна была вся бухта с боевыми судами и внешний рейд с тральщиками и сторожевым крейсером. В первый день, как приехал сюда Ливенцев, все боевые суда были густо обвешаны матросскими рубахами и подштанниками, так как был день мойки белья, и смешливый Ливенцев долго хохотал над таким преувеличенно мирным видом грозных судов.

Стоял золотей сентябрь. Погода была великолепная. Всюду валялись арбузные и дынные корки. И хотя прапорщика Ливенцева стесняла шашка, которая все съезжала наперед и норовила попасть между ногами, и хотя очень надоедало то, что все время надо было подносить руку к козырьку, принимать или отдавать честь, все же куча свалившихся на него обязанностей, самых неожиданных и большей частью для него непостижимых, занимала его чрезвычайно; с непривычки к такой суете он к вечеру очень уставал и тупел. Главное, его, до призыва имевшего дело только с безмолвными рядами математических выкладок и с очень молчаливой старухой-матерью, вдруг бросило в людской водоворот, причем одни люди зависели от него,

от других зависел он сам, а третьи, ничего не понимавшие в теории функций, вдруг почему-то оказались его товарищами.

Он не успел еще отвыкнуть от того, что считал важнейшим своим делом, и привыкнуть к мысли, что самое важное теперь, даже и в его жизни, как и в жизни всех кругом, вот эта самая, месяц назад начавшаяся война. Его еще не прищемило войной даже до боли, в то время как для миллионов кругом война была уже смерть. И хотя каждый день читал он газеты и телеграммы с театра военных действий, все-таки он представлял себе то, что там делается, только так, как это писалось в донесениях: наши войска победоносно наступали в Галиции, брали один за другим города, и десятки тысяч пленных, и огромные стога снарядов, стоявшие на австрийских полях, и как будто ничего не теряли сами, – прогулка, феерия!.. Как и всем кругом, читавший только русские газеты, ему казалось, что война для Австрии дальше уже немыслима, остается только просить пардону, что месяца через два немецкие державы заговорят о мире, а он снимет эту чрезвычайно неудобную шашку и снова засядет за диссертацию вплотную и закончит ее в назначенный себе самому срок, если начнет работать усерднее и наверстает потерянное время.

Походка у него была с неверным постановом ног и ныряющая – всем корпусом и особенно правым плечом – вперед.

Так как теперь, когда они трое шли к ожидавшей их линейке, было еще утро и он не успел устать, то все кругом было ярким для его глаз: и блеск солнца на отшлифованных подковами и железными шинами булыжниках мостовой, и пара сытых, но секущихся серых лошадей в линейке, и зеленый овод, вившийся над лошадьми, и даже то, что фамилия кучера-ополченца оказалась Блощаница.

И когда они уже ехали, выбираясь из провалья к базару, чтобы попасть оттуда на Балаклавское шоссе, немолодой уже, долговязый белобрысый офицер верхом на прекрасном гнедом беломом коне попался им навстречу, и Мазанка крикнул ему:

– Корнет Зубенко! А мы к вам!

Корнет остановил коня, Блощаница придержал свою пару серых, и Ливенцев тоже узнал корнета, – они познакомились дня два тому назад на Нахимовской просто потому, что одни и те же буквы – инициалы названия дружины – и цифры были на их погонах, но Ливенцев думал, что он артиллерист. Мазанка певучим своим тенором говорил Зубенко:

– Про вас я совсем забыл! Ведь вы в эскадроне у Лихачева!

Гарцуя около линейки, Зубенко, человек очень скромного вида, даже как будто застенчивый, вообще не потерявший еще способности краснеть, толстощекий и краснотубый, пожал всем троим руки широкой в запястье рукой и спрашивал удивленно:

– К нам? Зачем к нам? Ревизовать отчетность! Вот как!

– Правда, это больше касается ротмистра Лихачева, чем вас... А конек у вас славный! – говорил Мазанка.

– Горячится... Но я все-таки приеду, – у меня тут сегодня немного дел... Фураж замутил... Вот только узнаю насчет сена, и назад... Конечно, ведь вы и обедать будете там у нас? Я к обеду успею приехать... Всех благ!

И они разъехались, и, следя за его посадкой, Кароли сказал презрительно:

– Э-э, корнет тоже, а сидит – как собака на заборе!.. Накажи меня бог, все эти, из отставных которые, ни к чертовой матери не годятся.

А Ливенцев заговорил оживленно:

– Господа! Вот какая штука! Я было забыл совсем: наш доктор Моняков что сказал мне об этом корнете... Дело было на Нахимовской, дня два назад. Стремлюсь зайти в магазин, купить колбасы. Попадает на улице вот этот, как оказалось, корнет Зубенко. Вижу по погонам – наш брат! Сказали друг другу по два теплых словца. «Давайте, говорю, в магазин зайдем, по фунту колбасы купим». Как шарахнется от меня мой корнет Зубенко! «Что вы, говорит, колбасы! Теперь колбаса уже стала восемь гривен фунт. То есть, я о чайной говорю, о

двадцатикопеечной, а к другим сортам и приступу нет!..» И от меня тягу! Я смотрю, – тужурка на локте заплатана, и так весь вид какой-то потертый хотя и не голодающий отнюдь. Думаю: может быть, семейство большое, – нуждается... А тут сзади наш доктор подходит, Моняков, говорит: «Это кто такой от меня помчался?» – и вслед корнету смотрит. «Почему, спрашиваю, от вас, а не от меня?» – «Потому что вы его не знаете, а я знаю!» – «Если даже он вас обокрал, доктор, простите ему, говорю, ради его бедности!» Доктор мой даже рот разинул. «Как так „бедности“! – кричит. – Да у него шестьдесят тысяч чистого дохода с одних только недр! Французы ему аренды за антрацит платят! А имение-то три тысячи десятин, – дает оно что-нибудь или один убыток?»

– Как три тысячи десятин? – спросил Мазанка.

– Как шестьдесят тысяч доходу? – одновременно спросил Кароли.

– Не знаю уж как! Оставляю это на совести доктора.

– Это миллионное состояние, что вы!.. – возмутился Кароли. – У такого чтобы миллионное состояние? Не может быть! Шестьдесят тысяч, считайте даже по шесть процентов, – вы математик, не будете спорить, надеюсь, что в земле у этого Зубенко миллион!

– А три тысячи десятин земли, – если черноземной, под пшеницей... И не заложена... А какой ему смысл ее закладывать, шестьдесят тысяч получая?.. Как вы эту землю считаете? По триста пятьдесят, меньше продать нельзя... Вот вам еще миллион! – подсчитал Мазанка.

– Выходит, два миллиона! Вот поди же! – удивился теперь и Ливенцев.

– Накажи меня бог, я бы такого и в письмоводители к себе не взял! А у него состояния два миллиона!

– Да ведь, может быть, все пустое, – счел нужным утихомирить Кароли Ливенцев. – Доктор наш ведь земец, поэтому радикал... И чуть что – кричит: «Это вы прочитаете во „Враче“!» Корреспондент, видите ли, журнальчика «Врач»... Наверное, он здорово преувеличил.

– А ротмистр Лихачев не из тех ли мест, где станция «Лихачево»? – спросил Кароли Мазанку.

Но на этот вопрос ответил не Мазанка, а кучер – Блощаница. Он сидел на передке, устроив ноги по сторонам дышла, но при вопросе Кароли обернул рябое бородатое лицо к нему в упор и сказал с радостной ухмылкой:

– Это же, вашбродь, ихнее имение там и есть, а как же!.. И даже там у них при воротах две пушки стоят...

– Пушки даже? Вот как? Очаковских времен?.. А именье богатое?..

– Именье выдающее!.. Я эти места хорошо знаю... Я у господ Подгаецких, поблизу, служил в кучерах, и сколько разов я их к Лихачевым в гости возил!..

Выехали, наконец, на шоссе. Зажимая носы, проехали мимо свалок. Потом стали попадаться по обеим сторонам шоссе какие-то небольшие усадьбы с виноградничками, садами и даже небольшими клочками стерни по известковому овражистому плато.

– Вот где люди пшеницу сеют, – где самая крейда, або алебастр, – кивнул на эти клочки стерни Блощаница. – А что касается Лихачева-помещика, то у него с десятины если не полтора пудов снимают, то бывало даже и так, что все двести!

И пока ехали до Балаклавы, – Ливенцев это видел, – никак не могли успокоиться ни подполковник Мазанка, ни бывший адвокат, поручик Кароли, ни даже кучер Блощаница.

В имениях и десятинах, – много ли их или мало, – ничего не понимал Ливенцев. Ему было тридцать семь лет, но он как-то так расположил свою жизнь, что ничего не пытался сделать в сторону десятин, имений, угольных копеек, миллионов, даже просто сколько-нибудь прочных условий жизни. Он даже и не служил нигде в последнее время, а жил случайными уроками, и меньше всего в жизни понимал он то, что было предметом внимания многих: богатство.

Он вышел из семьи, в которой никогда не было того, что называется достатком, и в то же время никто не говорил ни о бедности, ни о богатстве. Отец его был пианист, он тоже в молодости неплохо играл и даже колебался, когда окончил гимназию, куда ему поступить – в университет или консерваторию, и, среди колебаний этих, поступил вольноопределяющимся в пехотный полк, чтобы отбыть повинность. Потом затянул он и студенческие годы, так как три раза менял факультеты. Он был холост. Мать-старуха нуждалась уже не во многом. Он, как говорится, легко относился к жизни. И в то же время, как многие кабинетные люди, любил вплотную наблюдать людей, то есть буквально вплотную, очень приближая свое лицо к каждому новому лицу, хотя близоруким он не был.

У него было большое любопытство к человеку, как совершенно неповторимому среди других человеческих особей существу. Возможно, что это было в нем просто пифагорейство, но он как-то про себя вычислял задачи человеческих лиц и составлял невнятные еще, зыбкие еще в своих основаниях, но возможные по идее формулы человеческих лиц в состоянии покоя, человеческих жестов, походок, манер говорить, глядеть, улыбаться, смеяться, сердиться, негодовать, приходить в ярость. Он был больше человекоиспытатель, чем соучастник жизни тех, с кем приходилось ему жить вместе, и теперь, на пути к Балаклаве, приближая свое отнюдь не близорукое лицо то к лицу Мазанки, то к лицу Кароли, он был доволен, что вот расшевелил их тем, чему сам не придавал никакого значения, – рассказом о корнете Зубенко, который был возмущен дороговизной колбасы до того, что не хотел ее покупать, и наглыми накидками военных портных до того, что стоически продолжал носить старую, заплатанную кадровую тужурку...

И широколицему рябому Блощанице он был благодарен за его вовремя вставленные пушки у лихачевских ворот и полтора-два пуда пшеницы на баснословном лихачевском черноземе.

II

Балаклавские греки, смуглые Кости и Юры, были очень недовольны войной. Все они были рыбаки и жили морем; теперь их не пускали в море ни днем, ни ночью. Теперь на берегах расположились батареи, в их домишках – солдаты-артиллеристы. Им оставили бухту для мережек, но в мережки попадала несчастная рыба мелочь – барабульки и карасики, величиной в пятак, и Кости и Юры ходили похудевшие, почерневшие, мрачные. Напрасно они жаловались военному начальству и спрашивали, чем же теперь им жить. Начальство коротко отвечало: «Война!» Так было в Балаклаве только тогда, когда заняли ее англичане шестьдесят лет назад, но это помнили только очень старые люди, и от тех времен остался в полной неприкосновенности только один небольшой дом, комнатки в котором были в два аршина высотой. И уходить за рыбой по ночам, оставлять своих жен на произвол солдат тоже боялись Кости и Юры. И когда линейка въехала в Балаклаву, на все вопросы Блощаницы, где здесь квартирует эскадрон ополченцев, Кости и Юры мрачно отвечали: «Почем знаем?» – и отворачивались хмуро. И только когда Кароли весело заговорил с ними по-гречески, очень удивленные, они показали, как проехать к эскадрону. Но по-гречески же спросили они Кароли: если нельзя ловить рыбы в море, то чем же им жить? И по-русски ответил им Кароли: «Почем знаем?»

Это был дом какого-то немца, выселенного на Урал, вместительный дом с большими табачными сараями: у немца были табачные плантации. Теперь в этих сараях устроили конюшни, поблизости расквартировали людей, а сам Лихачев и Зубенко и небольшая канцелярия эскадрона разместились в доме.

В тужурке, расстегнутой на все пуговицы, в синих рейтузах старого образца, в вышитой тонкой рубашке, с сигарой во рту, ротмистр Лихачев сидел на веранде и читал «Русское слово». Приезд ревизионной комиссии очень его удивил, и он, улыбаясь приветливо, все-таки широко раскрывал выпуклые черные глаза. У него был прекрасный открытый лоб без морщин, пухлые

щеки, безукоризненно выбритый круглый подбородок, и усы, так запомнившиеся полковнику Полетике, действительно были из таких, которые запоминаются: холеные, завитые обдуман-ными кольцами, черные породистые усы... В то же время Ливенцеву подумалось, что из него, по внешности, мог бы выйти хороший дирижер румынского оркестра.

Когда Мазанка объяснил ему, что вся эта ревизия – простая проформа, что она назначена командиром бригады по обоим дружинам, что он, ротмистр, отнюдь не является каким-то преступным исключением, Лихачев сделался исключительно приветлив, тут же крикнул писаря, а писарь тут же достал нужные книги и счета, и ревизия началась без проволочек и закончилась в какие-нибудь полчаса.

Комиссия нашла все в полнейшем порядке, и Лихачев, как хороший хозяин, вполне довольный неожиданными, но любезнейшими гостями, повел их по конюшням показывать лошадей своего эскадрона, так как ученье уже кончилось и люди были распущены на обед.

Посмотрели лошадей. И Мазанка и Кароли оказались любителями этого вида животных и большими его знатоками, Ливенцев же смотрел на лошадей сначала с любопытством, ему присущим, потом однообразие их форм начало его утомлять. Безусловно гораздо больше, чем все лошади эскадрона, занимал его сам ротмистр Лихачев.

Он держал себя так, как будто дело было не в какой-то там Балаклаве, а в его имении, где у ворот исторические пушки, а на воротах, может быть, даже и львы, где, конечно, старинный липовый парк и объемистые амбары, способные вместить баснословные урожаи пшеницы.

Когда дошли до последней лошади и показывать больше уж было нечего и нечего, Лихачев сделал широкий пригласительный жест и сказал:

– А теперь, господа, прошу ко мне, закусить! Познакомлю вас с моею женой...

Упоминание о жене ротмистра заставило всех наклонить головы с особым почтением, почиститься щеткой, у медного рукомойника тут же на веранде вымыть руки и пригладить волосы.

Мебель в столовой, конечно, была оставлена сосланным немцем, но прекрасное столовое белье с красиво вышитыми метками на салфетках, свернутых в трубочки, серебряные кожи, вилки и ложки, несомненно, были привезены ротмистром из его Лихачевки. Ливенцев подумал даже, что и две бутылки вина были добыты не здесь и не в Севастополе, из каких-то тайников, доступных сведущим людям, а из старинного запаса лихачевского погреба, так как вино оказалось старых годов и дорогих цен.

Очень искусно, и, конечно, не эскадронным поваром, а домашним, из Лихачевки, был сделан соус для закуски под водку, стоявшую в граненом графинчике.

За стол не сажались, конечно, ожидая, когда выйдет жена Лихачева, и она вошла, наконец, с густо-коричневой, совершенно голой, лупоглазой собачкой на руках, и по сторонам ее важно вошли еще две лохматых болонки и издали, при виде незнакомых людей, какой-то однообразный, придушенный звук, непохожий на лай, непохожий даже и на урчанье: по-видимому это было приветствие, по крайней мере так понял Ливенцев, сейчас же про себя окрестивший жену Лихачева Цирцеей.

Она была высокого для женщины роста, но не из полных и не из молодых, – лет сорока. Лицо ее казалось желтоватым даже под пудрой, под глазами заметные круги, глаза невнимательные, скользкие, значительно уже выцветшие; на обеих тонких руках браслеты с розетками камней, брошка-камея, на плечах пуховый светло-синий платок... Оттого, может быть, что все время дрожала своим коричневым голым тельцем собачка на ее руках, у Ливенцева получилось впечатление, что зябкой была сама эта Цирцея, следом за которой денщик внес осторожно за ушки большую фаянсовую миску с супом.

– Накажи меня бог, если я когда-нибудь видел таких собачек! – искренне сказал Кароли, когда представил их всех жене своей Лихачев и усадил за стол. – Что это за порода такая?

– Это африканка, – и Цирцея укутала ее своим пуховым платком. – Наступает осень, и ей, бедняжке, становится уж холодно...

– Она имеет способность лаять или совсем безмолвна? – полюбопытствовал Ливенцев.

– Попискивает, как цыпленок, – ответил за жену Лихачев. – Вообще же она тут испытывает большие неудобства, как и мы с женой... Надеемся, впрочем, что неудобства эти кончатся месяца через два... на худой конец – три... И мы опять домой – в имение.

– Вашими устами бы мед пить! Я уж тоже соскучился по имению, – сказал Мазанка и объяснил Лихачеву, в каком уезде находится его имение и кто там у них предводитель дворянства.

– Потревожили нас в наших родительских гнездах, а зачем? – раскатисто и веско говорил Лихачев, наливая по рюмке водки. – И какие огромные затраты государства на эти «апольченские» дружины, до которых дело, разумеется, не дойдет! В декабре мы, конечно, подпишем мир!

– Это было бы гениально! – подхватил Ливенцев. – Но почему все-таки вы думаете, что в декабре мир?

Лихачеву, видимо, не понравился не самый этот вопрос, а тон вопроса, и он ответил снисходительно:

– А потому я так думаю, что война ведется в спешном порядке, что и понятно при современных э-э... вооружениях. Об австрийской армии можно сказать, что она уже почти не существует. Она совершенно де-морализована и бежит... или сдастся массами... вот-вот мы обойдем Германию с левого фланга. А с юга – французы, а с запада – англичане. Не беспокойтесь! Вильгельм весьма неглуп и на карту всего ставить не станет. Платить по счетам придется Австрии, и она заплатит по-ря-дочно!

– Так что нам, вы думаете, она заплатит Галицией? – спросил Ливенцев.

– Галиция уже наша! – сказал Лихачев.

– Выпьем за Галицию, что же, а? Галиция так Галиция! – предложил веселый Кароли.

А когда выпили за Галицию, Лихачев добавил:

– Кроме Галиции, мы, может быть, и Буковину получим. Но самое важное, что мы получим, это – Константинополь и проливы!

– Послушайте, что же это вы! – удивился Ливенцев. – Откуда это вдруг Константинополь? И почему проливы?

– Как почему проливы? Вот это мне нравится! – удивился и Лихачев. – Из-за чего же мы с вами призваны, как это называется, кровь проливать? Конечно же из-за проливов! Что нам за корысть в Галиции? Галиция что нам такое даст? Это – земля бедная... Мы вон на владения в Средней Азии ежегодно огромные деньги тратим, и на Галицию, может быть, придется тратить, а вот проливы заполнить – это большой будет плюс.

– Почему большой плюс? – не понял Ливенцев и присмотрелся к Лихачеву, вытянув тонкую шею, и снова нашел, что если его разоблачить из тужурки и рейтуз и нарядить соответственно, то какой бы внушительный и типичный вышел из него дирижер румынского оркестра!

Но Кароли не дал ответить Лихачеву, он сказал горячо и с обидой:

– Если война и к новому году окончится, все-таки я на ней потерял уж тысяч двадцать!.. Накажи меня бог, не меньше двадцати тысяч!

– А каким образом потеряли? – спросила жена Лихачева, причем за обедом она действовала только одной правой рукой, а левая все как-то порхала по дрожащему тельцу лупоглазой африканской собачки.

– Мой старинный клиент умер один – грек Родоканаки, экспортер-хлебник, и нужно было трех оболтусов в наследство вводить... Считанные деньги были! – выпятил толстые губы Кароли. – Теперь уж эти денежки другой получит, а ведь я за ним как ухаживал! Как за родным отцом! Перед самым объявлением войны справлялся у докторов, – трое его лечили: «Ну что,

как?» – «Две-три недели протянет, и готово!» – говорят. Рак желудка был... Смотрю теперь на все, а у меня тоска, у меня тоска!

– Эх, я, может, еще и больше вас потеряю! – тоскливо сказал Мазанка. – Остались в имении только жена с сынишкой, а она ведь никогда в хозяйство не вмешивалась... Начнет продавать хлеб, – ее, конечно, накроют. Непременно накроют! Еще может и так быть, что никаких денег не заплатят, а рубль уже стал полтинник!

– На колбасе – и того меньше, – улыбнулся Ливенцев.

– Хлеба сейчас не продавайте, – веско сказал Лихачев. – Явный убыток!

– И не продавать нельзя: деньги нужны.

– Продавайте нагульный скот в таком случае. Потому что скот на зиму оставлять, конечно, абсурд, а хлеб ваш пускай лежит: он ни сена, ни барды не просит... Я своему управляющему категорически запретил продавать хлеб: пусть лежит до окончания войны!

И Лихачев вытянул энергично левый ус и старательно закрутил его снова, а Ливенцев обратился к нему:

– Все-таки проливы... Я об этом знаю теоретически, так сказать, что вот существуют политики столичные, и они говорят что-то там такое, со времен Каткова, а пожалуй, даже и со времен матушки Екатерины, о Константинополе – втором Риме – и о проливах... Но ведь, представьте, так и думал, что все это нужно политикам, а нам с вами зачем проливы?

– Вам лично? Не знаю. Вам это лучше знать, – вежливо усмехнулся Лихачев. – Что же касается меня, помещика, производителя пше-ни-цы, которую от нас вывозят за границу всякие Дрейфусы, – то это уж я, конечно, знаю, так как за провоз через Дарданеллы своего же хлеба я же и плачу Турции!

– Вы? Не понимаю!

– Очень просто! Таможенный сбор существует одинаково как у нас, так и везде, – так же и в Турции. Вы ведь, э-э... не думаете, надеюсь, что у турок все очень просто: руки к сердцу, поклон в пояс, и проезжайте, пожалуйста, провозите хлеб, господа Дрейфусы! Нет, Дрейфусы платят, а с нас, помещиков, берут! То есть, нам они недодают на хлеб, сколько они теряют, чтобы Дарданеллы пройти... А когда Дарданеллы будут наши, то за хлеб свой мы будем получать больше, – ясно? Не говоря уж о том, что мы там десять Кронштадтов устроим, и черта с два к нам в Черное море кто-нибудь прoderется! И никаких нам тогда балаклавских береговых батарей не надо строить! И Севастополь тогда будет просто торговый город...

– Вы редкостно-счастливый человек: знаете, зачем и к чему вся эта война... – начал было Ливенцев, думая выяснить для себя еще кое-что благодаря этому ротмистру, который внимательно так читал «Русское слово», но тут вошел корнет Зубенко, в комнате показавшийся гораздо выше ростом, чем на Нахимовской улице, извинился, что несколько запоздал к обеду, сказал Лихачеву что-то такое о сене, которое – наконец-то! – получено там, в Севастополе, и вопрос теперь только в том, чтобы его доставить в Балаклаву.

Он сел за стол привычно, – видно было, что каждый день он так же точно садился за этот стол. Ливенцев пригляделся к рукаву его тужурки, не переменял ли на другую, – нет, он был постоянен: это была та самая, заплатанная на локте.

Теперь, когда Ливенцев окончательно убедился, что Зубенко – человек с какими-то странностями, он, по своему обыкновению, весьма приблизил к нему глаза, но ничего странного в его лице все-таки не находил. Напротив, это было вполне обычное, размашистых линий, степное лицо с белесыми ресницами, от которых веяло добродушием и недалекостью; из своих наблюдений над людьми Ливенцев выводил, что подобные белесые ресницы бывают только у недалеких людей. И так как он пришелся с ним рядом, то спросил Зубенко, как будто между прочим:

– Почему вам так не понравилась военная служба, что вышли в отставку корнетом? Мне кажется, что вы именно и рождены для геройских подвигов.

– Разве я корнетом в отставку вышел? – улыбнулся Зубенко. – Я, конечно, поручиком, только теперь надел свои прежние погоны, как и полагается по закону: раз ты мобилизован из отставки, чин твой – какой был на действительной...

– Знаю, знаю... но уверен я, что вы погон поручичьих даже и не покупали.

– А зачем же мне их было покупать? – удивился как будто Зубенко, которому денщик поставил в это время тарелку супа.

– Лишняя трата денег? – подсказал Ливенцев.

– Совершенно лишняя, – согласился Зубенко.

– Что такое два с полтиной за погоны с тремя звездочками заплатить! – вмешался в разговор Кароли. – Накажи меня бог, пустяк полнейший, а все-таки три звездочки, а не две! Да, наконец, купили бы еще пару звездочек за двугривенный, и все! И пока мне не прикажут снять мои погоны с тремя звездочками, а надеть подпоручичьи с двумя, я их все-таки носить буду. Но ведь у меня миллионного состояния нету, как у вас!

– Какого миллионного? – повернулся к нему встревоженно Зубенко и замигал ресницами.

– А с какого же капитала можно получать по шестьдесят тысяч дохода? – причмокнул даже как-то Кароли. – Шестьдесят тысяч в год! Ого! И палец о палец не ударить! Меня, например, взять, так мне ведь сколько приходится ра-бо-тать, батенька! Родоканаки тоже не каждый год умирают! Мне сорок четыре монеты всего, а я вот – седой! – похлопал он по коротко стриженной голове, сидящей на короткой шее.

Ливенцев заметил, как густо покраснел Зубенко и с каким недоумением глядел на него Лихачев, выкатив свои румынские глаза. Даже Цирцея перестала порхать пальцами по спинке африканской собачки.

– Каких шестьдесят тысяч? – придушенно спросил Зубенко.

– Откуда у него шестьдесят тысяч дохода? – раскатисто сказал Лихачев, готовый захохотать, так как принял это за несколько странную между мало знакомыми людьми, но все-таки шутку, конечно.

– Будто бы дает французская компания какая-то за одни только недра, а имение остается имением, – три тысячи десятин! – ответил Лихачеву за Кароли Мазанка, тоже уставивший в несчастного корнета красивые, с поволокой, карие глаза.

– Вранье!.. Клевета!.. – энергично выкрикнул Зубенко. – Вообще меня, должно быть, смешали с кем-то другим.

– Вот странный человек! Не хочет даже, чтобы его считали богатым! Накажи меня бог, в первый раз такого вижу! – искренне удивился Кароли.

А Ливенцев даже пожал своими не узкими, но выдвинутыми как-то вперед плечами:

– Непостижимо!.. Я, конечно, не знал бы, что именно мне делать с миллионом, если бы он свалился мне с неба, но всякий миллион все-таки факт, как же можно его отрицать.

– Не понимаю, господа, что вы такое говорите! – как будто даже возмущенно немного поглядела на всех поочередно Цирцея. – Ведь это называется шутить над человеком, который отшучиваться совсем не умеет.

И под ее взглядом командирши, заступившейся за своего субалтерна, первым смутился вежливый Мазанка и тут же выдал Ливенцева:

– Сведения о миллионах идут вот от нашего прапорщика... Мы сами это только сегодня от него услышали...

И так как на Ливенцева теперь обратилось сразу несколько пар глаз и белесые глаза Зубенко глядели неприкрыто враждебно, то Ливенцев тоже поколебался было и уж хотел как-нибудь замять разговор, но спросил на всякий случай корнета:

– А вы доктора нашего Монякова знаете?

– Монякова? – переспросил Зубенко и отвернулся.

– Да, того самого Монякова, с которым вы, правда, не захотели говорить дня два назад, но ведь когда-нибудь придется же вам с ним встретиться, не так ли?.. Так вот, это именно он мне о вас наговорил, представьте!.. Он вас очень хорошо знает... и ваше имение... и ваши дела с французской компанией «Унион».

– Он так вам и сказал: французской компанией? – пусто и глухо спросил после томительного молчания Зубенко.

– С французской или бельгийской... Да, кажется, именно с бельгийской, но мне показалось, что это – все равно.

– Угу... Нет, это – не все равно, – пробормотал Зубенко.

– Может быть... Он мне сказал еще, будто вы недовольны ими, этими французами или бельгийцами, что они плохо выполняют условия договора, то есть, попросту говоря, вас грабят...

– Он так и сказал вам: грабят? – живо обернулся к Ливенцеву Зубенко.

– Да, в этом роде... и будто вы начали с ними процесс.

– А он не сказал вам, кто посредничает бельгийцам этим, прохвостам? – с большой яростью в хриповатом голосе спросил вдруг Зубенко, и глаза у него стали заметно розовыми от прилившей к ним крови.

– Однако факт, значит, все-таки налицо! – торжествуя, перебил по-адвокатски Кароли Ливенцева, начавшего было что-то говорить Зубенко насчет Монякова. – Есть угольные копи, взятые в аренду бельгийцами, которые платят вам шестьдесят тысяч, но должны платить, по-вашему, гораздо больше.

Лихачев коротко кашлянул. Ливенцев взглянул на него пристально. У Лихачева был явно оскорбленный вид. Он покраснел, как от натуги, и нервно накручивал правый ус на палец.

Так как Зубенко упорно молчал, делая вид, что и ответить не может так вот сразу, – очень занят едой, – то Цирцея обратилась к нему негодующая:

– Значит, вы действительно получаете по шестьдесят тысяч в год доходу?.. А я-то думала, что над вами шутят! – и она сильно сощурила глаза.

Ливенцев заметил, что у Зубенко как-то сразу набряк, явно распух и без того объемистый нос, однако ответ его поразил еще больше наивного математика, чем его нос:

– Вы думаете, что шестьдесят тысяч за угольный пласт, как на нашей земле, это много? В том-то и дело, что мало! Очень мало!.. За подобный пласт Парамонов по три миллиона в год получает!.. Три миллиона! В год! Это вам не какие-нибудь несчастные шестьдесят тысяч! – с неожиданной выразительностью и силой сказал Зубенко.

Мазанку же, видимо, мучила другая сторона дела – размер имения Зубенко, и он спросил почему-то даже не певуче, как привык слышать от него Ливенцев, а тоже несколько хрипло:

– Это на всех трех тысячах десятин у вас угольный пласт оказался?

– Именно в этом и вопрос, что бельгийцы шурфуют землю везде, где им вздумается, а по договору они этого делать не смеют, – помолчав, ответил Зубенко.

Убедившись в том, что у этого немудрого на вид корнета действительно три тысячи десятин, Мазанка оглядел всех округлившимися и от этого ставшими гораздо менее красивыми глазами и проговорил:

– Однако! Три тысячи десятин! Степной земли!

– Что же тут такого? – зло отозвался Зубенко. – Вон у Фальцфейна триста тысяч десятин степной земли, – это я понимаю, – богатство, а то три тысячи!.. По сравнению с тремя стами – так, клочок жалкий!

– Не-ет-с, это уж вы меня извините, – это не клочок жалкий – три тысячи десятин, – как-то выдавил из себя скорее, чем сказал, Мазанка.

– Да-да! Смотря, конечно, как хозяйство поставить, а то три тысячи десятин вполне могут давать те же шестьдесят тысяч, – поддержал его Лихачев, покачав при этом как-то многозначительно из стороны в сторону лысеющей спереди головой, а Цирцея добавила:

– И мы ведь тоже бурили у себя, мы сколько денег ухлопали на бурение, однако у нас вот в недрах ничего такого не оказалось.

– Как? Вы тоже искали уголь? Или руду железную? – любопытствовал Кароли.

– Нет. Не руду и не уголь... Об этом-то мы уж знали, что нет... Мы за доломитом охотились, – объяснил Лихачев. – Доломит – он ведь для доменных печей требуется... И нашелся такой специалист, сбил нас с женою с толку: «У вас доломит! Бурите!» Вот и бурили... Денег, правда, пробурили достаточно, а доломит обманул... Ну, одним словом, он хотя и нашелся, только не того процентного отношения, какое требуется. Низкого качества. Годится, конечно, как бытовой камень, только не в домны... Да! На этом я, просто говоря, прогорел... А у вас, стало быть, целая Голконда? – обратился он к Зубенко не улыбаясь. – А я и не знал! Вы как-то ни разу не заикнулись даже... об этом своем альянсе с бельгийцами.

– Не дай бог иметь дела с этими негодяями! – уверенно, очень убежденно и горячо отозвался Зубенко, накладывая себе гарниру к жаркому.

– Наши союзники, – напомнил ему Ливенцев.

– Я о тех там, которые у себя дома сидят, не говорю, – поправился корнет. – Я говорю о тех пройдохах, какие к нам сюда приехали и нас сосут, как пауки.

– Однако миллион они для вас на вашей земле нашли же, – попытался склонить его на милость даже к приезжим бельгийцам Кароли.

– Какой миллион?

– Шесть рублей со ста, шестьдесят тысяч с миллиона!

– Ну, знаете, так считать если, тогда у Парамонова пятьдесят миллионов в земле лежат! А пятьдесят миллионов и один – это большая разница... Также надо принять во внимание, какое у меня семейство.

– Неужели вы женаты? – удивилась Цирцея и почему-то даже опустила при этом свою африканскую собачку на пол.

– Я не женат, положим, но ведь еще сколько нас – сестер и братьев... Это я считаю только родных, а ведь еще сколько двоюродных!.. Нас очень большая семья.

– Ну, ваши доходы тоже оказались не маленькие! Это на какую угодно семью хватит, – сказал Лихачев.

А Цирцея, безжалостно глядя на заплатанную на локте тужурку Зубенко, добавила язвительно:

– Тем более при ваших скромных привычках.

– Привычки зависят от воспитания, – буркнул Зубенко, не поднимая глаз.

Ливенцеву стало даже как-то жаль его, точно его травили со всех сторон, и виноватым в этой травле оказался не кто иной, как он же сам, Ливенцев, сболтнувший сказанное Моняковым, – мог бы ведь и промолчать. И, желая отвести разговор в сторону, он спросил Зубенко:

– Что же, пшеницу сеете на своей земле?

– Сею и пшеницу, – подумав, ответил Зубенко.

– Ага! Вот видите! Значит, вам тоже необходимы проливы?

– Почему такое? Проливы? Мне? – несколько удивился, но и насторожился, как перед новой издевкой, Зубенко.

– Мы только что пришли к выводу, что всем помещикам России, у которых на полях пшеница, Дарданеллы необходимы, как воздух... Давайте же выпьем с вами за Дарданеллы! – поднял недопитую рюмку Ливенцев.

– Я не пью, – с достоинством ответил Зубенко.

– Как? Совсем никогда не пили? – изумленно поглядел на него Мазанка.

– Никогда не пил. И не курил также.

– Много потеряли! – сказал Мазанка, а Кароли ошарашенно выпятил губы:

– Накажи меня бог, первый раз такого человека вижу! Куда же вы свои миллионы намерены девать?

– Что не пьет и не курит – это верно, – сказал Лихачев. – И очень хороший службист, – рекомендую! У него все и всегда в порядке. При таком субалтерне эскадронный командир может быть спокойным перед любым смотром и перед любой ревизией.

Ливенцев принял эту рекомендацию как желание Лихачева вывести своего корнета из неловкого положения, хотя и не понимал как следует, в чем же именно тут неловкость. И только когда пригляделся к Цирцее вплотную, как привык приглядываться к людям, понял, что Лихачев говорил это не для них трех, а для нее одной, для той, которую теперь перестали уж совсем занимать голая коричневая собачка и две белых болонки. Она дала им каждой в свою мисочку по куску рагу из баранины, и около нее теперь шло деловитое чавканье и урчанье, как около подлинной Цирцеи на ее острове, и она была теперь явно разгневана тем, что тот, который носил около нее, ею как будто и данный ему, облик простеца и бедняка, оказался вдруг перевоплотившимся самовольно во что-то другое, вдруг как-то неожиданно сделался далеко не так прост и, главное, совсем не беден, даже очень богат!

Да, у нее было явно негодующее лицо. На Зубенко она смотрела не отрываясь. Ливенцев понял, что это – женщина властная.

И вот еще что он понял: что он сам как будто человек с другой планеты среди остальных; что здесь, в Балаклаве, за одним столом с ним, получающим только свое полутораторублевое жалованье прапорщика и больше ниоткуда ничего, сидят всё богатые люди. Об адвокате Кароли он знал, что у него прекрасный дом в Мариуполе, что сюда, в Севастополь, он взял свой выезд – красивый кабриолет и пару дышловых лошадей, неизвестно почему уцелевших пока от мобилизации; трое остальных были помещики, из которых самым богатым оказался самый незаметный на вид и преувеличенно скромный в своих привычках, не захотевший тратить даже двугривенного на третьи звездочки себе на погоны, хотя и мог бы носить погоны поручика так же незаконно, как и Кароли.

Над тем, что говорил ему о Зубенко дня два назад этот радикал, земец, доктор Моняков, он пытался думать только теперь – и удивленно видел, что молодой еще степной помещик этот, обладатель миллионов, захлестнут как-то до потери самого себя своими богатствами, что как-нибудь пользоваться ими он совсем не умеет, даже боится, что он умеет их только стеречь, может стремиться их увеличить, но совершенно лишен способности их тратить, – и в нем появилась какая-то не то что отчужденность, а даже брезгливость к этим всем, чересчур связанным с землею, преувеличенно земным людям и к Цирцее с ее африканскими и прочими собачками, и он сказал, улыбаясь, как всегда, когда чувствовал брезгливость:

– Господа! У меня нет ни имения, ни дома, ничего вообще, кроме знания математики, и то приблизительного, конечно. Но математика не нуждается в защите при помощи кавалерии, а также штыков и пулеметов... Да на нее никто и не нападает: какая корысть нападать на какую-нибудь теорию парабол и гипербол? А вот напасть на имения с их пшеницей или на угольные копи – тут есть так называемый казус белли. Говорят уже, что теперешняя война – война угля и железа... и доломита, конечно, поскольку он необходим для железа. (Тут Ливенцев улыбнулся в сторону Цирцеи.) Вопрос теперь, значит, только в том, чтобы нам всем, – и мне тоже, представьте, как это ни странно! – суметь защитить все наши пшеничные поля и угольные копи.

– Как защитить? – глянул на него непонимающе Лихачев.

– От кого защитить? – спросил Мазанка. – Кто на них покушается?

– Вот тебе на! Разве немцы не заняли у нас часть Польши? – удивился Ливенцев.

– А мы разве не заняли часть Пруссии? – спросил Лихачев. – Линия фронта может, конечно, колебаться то здесь, то там, но-о до наших коренных русских земель куда же

добраться немцам? Ни-ко-гда этого не будет! Да и вообще пустяки... Наше военное министерство урок японской войны учло – это теперь для всех очевидно... Нет, война кончится месяца через два-три...

– А вы как думаете? – обратился Ливенцев к Зубенко.

Зубенко подумал, помял хлебный мякиш между толстыми пальцами и сказал решительно:

– К новому году кончат войну!

Кароли же горячо добавил:

– И как только Вильгельм попадется в плен, – накажи меня бог, об него готов тогда буду целый день спички тушить! Так он мне с этой войной надоел, проклятый!

Ливенцев поглядел на него и расхохотался вдруг.

– А если... если не через два месяца, а и через два года не кончат войну? – еле проговорил он сквозь хохот.

– Абсурд! – махнул рукою Лихачев.

– Чепуха! – сказал Мазанка.

– Мне надо насчет сена распорядиться, – вдруг поднялся из-за стола, наклоняя голову в сторону Цирцеи, Зубенко. – Сейчас же надо послать подводы, а то ведь на сено много охотников... Не успеешь оглянуться – артиллеристы заберут, а потом ищи-свищи!

– Да-да! Вот именно: ищи-свищи! Идите, идите, – забеспокоился и Лихачев, а Мазанка кивнул Кароли:

– Надо бы и нам ехать...

Но хотя Зубенко и ушел, простившись с ними, их остановил Лихачев, так как подавали еще чай (на серебряном подносе, и стаканы в подстаканниках старого серебра), ликерные узенькие рюмочки и пузатую черную бутылку бенедиктина.

– Ка-ков оказался скромник наш Зубенко! – сказала Цирцея, снова усаживая на колени африканку и укутывая ее платком. – Ведь если бы вы не сказали нам, то откуда бы мы могли узнать, что это – богач? Если бы мы имели хотя бы половину его состояния! А ведь он...

Она остановилась, не договорив, но Ливенцев понял ее так, будто хотела она добавить: «...каждый день обедает на наш счет!»

И ему стало весело, когда добавил он про себя именно это.

А когда, простившись с Лихачевым, выходили они трое к своей линейке, Ливенцев заметил на верхней филенке верандной двери размашистую надпись химическим карандашом: «Прошу оставить сей дом неприкосновенности допробытия хозяина».

Ливенцев понял, что писал это высланный на Урал немец, надеясь, как и они все, что война скоро окончится и еще скорее – забудется, и он, честный владелец табачных плантаций, снова будет командовать целой армией русских девок из Мелитопольского уезда, которые будут ему цапать землю, высаживать из парников рассаду, срывать спелые листья, сушить их на суруках и проделывать с ними вообще все эти сложные трудоемкие процедуры, пока не получится товар, готовый для отправки на табачную фабрику.

И даже вообразил вполне ясно и определенно именно такого, каким только он мог бы быть, балаклавского немца-табачника Ливенцев и представил, как на этой вот веранде, кейфуя в послеобеденный час, мечтает он, честный немец, о своей табачной фабрике, о конкуренции с Месаксуди и какими-нибудь братьями Лаферм и непременно о миллионах...

А кучер Кирилл Блощаница, заметив, что привезенные им офицеры вышли навеселе и с завидно-покрасневшими лицами, подмигнул Ливенцеву как-то сразу всем своим широким загорелым рябым лицом и сказал, облаживая сбрую:

– Такое в прежнее время заведение у него, у Лихачева, было до чужих кучеров, какие, конечно, гостей привозили: стаканчик водки чтобы и, само собою, обед в людской... Думка такая у меня и теперь была, ну, однако, не вышло. А денатурату того когда-сь случилось выпить

стакан, так от него аж каганцы в глазах!.. Конечно, пьют люди за неимением, только же его, говорят, через хлеб пропускать треба...

Кирилл Блощаница явно был недоволен ротмистром Лихачевым.

III

На обратном пути говорили опять о том же корнете Зубенко, причем Кароли высказывал догадку, что разбогател он случайно, что три тысячи десятин эти у него не родовые, а приобретенные, что он не дворянин, конечно, а, вероятно, из зажиточных хуторян, которым вдруг подвезло с этим углем на их земле. Втихомолку Зубенко-отец скупал по дешевке земли себе под межу, втихомолку же завязал и эти политические сношения с бельгийцами, но нечаянно как-нибудь умер, «если не от рака в желудке, как наш мариупольский Родоканаки, то от какой-нибудь еще стервочки», и вот корнет Зубенко, как старший, вполне естественно, выходит в запас, а потом в отставку, чтобы вести хозяйство и сражаться с бельгийским «Унионом».

– Мужичок он, разумеется, прижимистый, – сказал Мазанка, – и в больших капиталах со временем будет, но вот для меня, как отца, – я ведь тоже сына-гимназиста имею, – вопрос в чем: сам ли он такой уродился, этот корнет Зубенко, или его так отец воспитал? А если воспитал отец, то каким же образом мог он этого добиться? Мытьем или катаньем? Ведь жмот сверхъестественный!

– Накажи меня бог, – музейная редкость! За деньги можно показывать.

Ливенцев молчал, потому что в голове его вертелись миллионы всех мастей: русские, бельгийские, немецкие, французские, английские... Эти миллионы принимали в его мозгу, несколько разгоряченном лихачевским вином, странно-уродливые, однако вполне реальные формы. И они сражались – эти разнонародные миллионы, а Кирилл Блощаница, который пока возится с серыми, секущимися на лопатках конями и мечтает о стаканчике водки, потом когда-нибудь пойдет вместе с ним, математиком Ливенцевым, оборонять русские миллионы против миллионов немецких... А зачем это им обоим?

Сердит ли был Блощаница, или серые рвались домой к кормушкам, только они бежали бойко. На седьмой-восьмой версте от Балаклавы они догнали три мажары, в которых сидело по несколько человек: солдат-ополченцев, у которых солдатского было только – медные кресты на вольных картузах. Несколько впереди их, верхом на гнедом дончаке, но уже не на белоногом, а на другом рысил Зубенко.

– За сеном? – крикнул ему Мазанка, поравнявшись.

– За сеном! – ответно крикнул Зубенко, явно не пожелавший ни ехать с ними рядом дальше, до Севастополя, ни вступать в какие-либо разговоры еще, после того что говорилось за обедом у Лихачева.

Он даже не улыбнулся, он только чинно поднял руку к козырьку своей потертой фуражки. А Мазанка сказал Кароли:

– Если фураж на целый эскадрон через руки этого Зубенко будет идти, то чем это пахнет, а?... – и подтолкнул его локтем.

Энергически, как всегда, Кароли отозвался:

– Накажи меня бог, наживет еще миллион за время войны!..

При этом добавил он весьма сложное и выразительное ругательство, какого никак не ожидал математик Ливенцев от поручика с университетским значком.

Когда проезжали уже окраиной Севастополя, Кароли заметил свой кабриолет, в котором каталась его жена, и пересел к ней, а Мазанка и Ливенцев слезли с линейки у остановки трамвая. Кирилл Блощаница один поехал в дружину, где офицерам жить было негде.

Толстая, сырая, обветренная, красная, с облупившимся носом, старая торговка с двумя корзинами помидор и дынь спешила, грузная, к тому же вагону трамвая, в который сели

Мазанка и Ливенцев, и уже занесла было она обрубковатую ногу в пыльном башмаке на подножку, но чахлого и сонного вида кондуктор дал свисток, вагон тронулся.

– Та куды же ты, нэгодяй, подлец?! – пронзительно завопила торговка.

Между тем в вагоне было всего несколько человек, и Ливенцев сказал кондуктору:

– Там еще какая-то старуха осталась, – посадить надо.

Сощуренными мутными глазками глянул на него кондуктор и дернул за веревку: вагон стал.

Втискиваясь в узкую дверь вагона со своими корзиничками, свирепо орала на кондуктора баба:

– Сви-сти-ит!.. А чтоб у тебя в животе так свистело!.. Куды ж ты свистишь, нэгодяй, когда я сажусь?

Она уселась как раз против Ливенцева, тяжело дышащая, с росинками пота на широком носу, и, время от времени обращаясь то к нему, то к Мазанке, полновесным грудным голосом воинственно кричала:

– Вот нэгодяй, – ну, что вы скажете, а!.. Сви-стит, когда человек сидеа! Он знай свое – сви-стит!.. Вот так они и людей давляют!

Смешливый Ливенцев не выдержал, наконец, и захохотал; заулыбался весело и Мазанка, а старуха ворчала:

– Смийтесь, смийтесь себе, а мне начхать!.. Я сажусь, а вин себе свистит, нэгодяй!..

Даже и полусонного кондуктора развеселила свирепая старуха. А Ливенцев говорил Мазанке сквозь смех:

– Вот она – матушка Россия! Попробуйте ее в вагон культуры не взять – какого она крику наделает! Не-ет, она свое место под солнцем знает и ото всех отобьется.

И с тою наивностью, которая его отличала, обратился он вдруг к старухе:

– А ну-ка, послушаем глас народа!.. Когда кончится война, о дщерь Беллоны?

Но дщерь Беллоны, остановив на нем серые, в набрякших веках, маленькие, но сердитые глазки, сказала вдруг для него неожиданно:

– А-а, як так будете вы воювать, как воюете, то и людей на вас не хвате!

Поджала презрительно губы и отвернулась к окну вагона.

– Что это значит? – вопросительно поглядел Ливенцев на Мазанку. – Что такое изрекла эта Сивилла?

Мазанка сделал жест левым плечом и левой стороной лица, означавший: «Охота была к такой обращаться!»

Но тут скоро остановился вагон, и на этой остановке бурно ворвался в него мальчишка-газетчик со свежими дневными телеграммами и звонким криком:

– По-те-ря двух наших корпусов в Восточной Пруссии!.. Генерал Самсонов убит!..

И через две-три минуты из радостно-розового по цвету широкого листа телеграммы Ливенцев узнал то, что гораздо раньше его узнала базарная торговка, – что под Танненбергом и Сольдау, в болотистых лесах, восьмая германская армия, пользуясь превосходством артиллерии и лучшим знанием местности, обошла армию Самсонова, что Самсонов и два других генерала с ним были убиты немецким снарядами, что мы потеряли два корпуса...

Телеграмма была запоздалая, очевидно задержанная в штабе крепости, не решавшемся опубликовать ее. Но из штаба крепости, конечно, через писарей, проникла она на базар.

Выходя из вагона вместе с Мазанкой близ Малой Офицерской, на которой они жили оба, говорил Ливенцев взволнованно:

– Меня это ударило страшно! Совершенно не думал, что это возможно. Самсонов! Опытный генерал! Участник японской войны... О нем писали как о военном таланте, о стратеге... Эх! Какая жалость! Два корпуса! Ведь это – восемьдесят тысяч человек!..

– А что же делал Ренненкампф? Осаждал Кенигсберг? Почему не было согласованности действий? Потому что он – Ренненкампф, – вот почему! – выкрикнул залпом Мазанка, и красивое лицо его стало бледным, только глаза горели. – Может быть, он миллион получил от Вильгельма за то, что не поддержал Самсонова, почем мы знаем? Немец с немцем всегда сговорятся за русской спиной. Это уж будьте покойны.

– Значит, вы полагаете, что дело не в каком-то генерале Гинденбурге, назначенном Вильгельмом на место Притвица, а исключительно в одном только немецком миллионе, предложенном Ренненкампфу?

– Непременно! – очень убежденно отозвался Мазанка.

И, внимательно глядя в его горячие на бледном лице глаза, Ливенцев проговорил, запинаясь:

– Вот подите же... Для меня, конечно, ясно, что я подхожу к людям совсем не с того конца, с какого надо... И знаете, что я теперь думаю после этого несчастного Танненберга?.. Что немцы не так скоро сдадутся, как мы все об этом мечтаем. Нет. Не так скоро.

Глава вторая

Охотник за черепами

I

Артиллерия дружины – батарея трехдюймовок – стояла на Северной стороне, и туда комиссия, в том же составе: подполковник Мазанка, поручик Кароли и прапорщик Ливенцев, приехала на следующий день.

Там тоже было всего лишь два офицера: штабс-капитан Плевакин и поручик Макаренко; причем Плевакин был не женат, африканских собачек и повара у него не было, отчетность велась кое-как, на каких-то клочках линованой бумаги, под кроватью в его комнате виднелись пустые водочные бутылки, на столе стоял лобзик, – он выпиливал какую-то рамку сложного рисунка, – и так же с нескрываемым изумлением встретил он ревизионную комиссию, как и ротмистр Лихачев, хотя и должен был прочесть об этом в приказе по бригаде.

Но о приказах этих он сказал презрительно:

– Тоже еще – при-каз-зы пехотные!

К пехоте вообще он, видимо, привык относиться без всякого снисхождения, а к тому, что прикреплен к какой-то там ополченской дружине, даже и за месяц не успел привыкнуть.

Правда, вид у этого Плевакина был воинственный: нос – долбежка, зубы – как у лошади, и даже рыжие волосы надо лбом завивались кверху петушьим гребнем.

– Ре-ви-зии! – ворчал он, выбрасывая из своего стола поручику Кароли разные счета, им оплаченные и сваленные в столе в полнейшем беспорядке. – Какая-нибудь пехтура – и вот тебе, здравствуй! – ревизия!.. А война вся – артиллерийская.

Поручик же Макаренко, тяжелый черный одутловатый человек лет под сорок, у которого за годы отставки ничего не осталось военного ни внешне, ни внутренне, рассказывал между делом Ливенцеву:

– Собрался это я себе на охоту ехать, собак накормил...

– Как же вы это: на охоту ехать, и вдруг собак кормить? – перебил Ливенцев.

– Та годи уж... Накормил собак, только собрався ехать, аж глядь – урядник иде!.. Гм, думаю себе, что ему надо от мене, уряднику? Аж подает бумагу: «Призывается прибыть в дружину такую-то». Вот черт! А зачем – неизвестно! «Прибыть-прибыть, а зачем прибыть?» – спрашиваю того урядника. «Так война ж», – говорит. «Туда к черту!.. Да с кем, бодай тебе лиха година, – с кем нам война? Какая война? Когда это?» – «Так с немцем же», – кажет. «М-м, – с немцем!.. А я-то думаю, с кем же это нам война?»

– Да вы газеты-то читали? – поглядел на него удивленно Ливенцев.

– Ну да, еще чего – га-зе-ты!.. И на черта мне голову морочить, газеты читать? Что я, учить? Или же поп? Или пысарь сельский?... У мене ж хозяйство!

Смешливый Ливенцев весело расхохотался.

Подполковник Мазанка посоветовал все-таки Плевакину завести книгу отчетности, чтобы на следующий месяц не так долго сидеть комиссии за его клочками бумажек, и все вышли посмотреть батарею.

Очень удивило Ливенцева, что на всех орудиях было аккуратное клеймо: «Made in Germany», а Плевакин сказал:

– Какое же это имеет значение? Что, они постесняются бить немцев, что ли?.. А вот если их мало купили в свое время, денег пожалели, – вот это будет свинство! Войну затеваешь – денег не жалеи, – первое правило! Война денежки любит... А ревизию после войны назначай!

Около орудий увидел Ливенцев тощего, с зеленым острым лицом, хотя и не такого уж маленького мальчишку, лет тринадцати на вид, беспечно одетого в какую-то рвань. Он неотступно ходил за ними, пока они осматривали батарею.

– Здешний? – спросил о нем Ливенцев Плевакина.

– Какой черт здешний! Беглый. Из Мариуполя с ополченцами приехал... Ой, Демка, смотри, я тебя по этапу отправлю!

– Ну да! По этапу!.. Дурак я, что ли, вам дался? – независимо ответил Демка.

– А вот прикажу, чтоб тебя не кормили на кухне и хлеба чтоб не давали, – сам, черт, уйдешь!

– Хлеба! Очень я нуждался! Что мне, хлеба никто не даст?

Голос у Демки был мрачный.

– Кто же твой отец, Демка? – спросил его Кароли. – Я в Мариуполе кое-кого знаю.

– Не знаете вы его... – отозвался Демка, глядя на Кароли исподлобья. – Он грязным ремеслом занимается.

– Каким же это грязным? Шпион он, что ли?

– Нет, не шпион... Он позолотчик. Иконостасы золотит.

– Вот тебе на! Какое же это – грязное ремесло? – сказал Ливенцев.

– Да, вы еще не знаете, какое... Грязное, и все! А теперь и вовсе все православные в шелапуты переходят, – никакой выгоды нет заниматься...

– Видно, что у тебя этот вопрос решен – насчет ремесла твоего папаши... А что же ты здесь делаешь? – спросил Кароли.

– Отправки жду, – что!.. На войну когда отправят – вот чего.

Картуз у Демки был синий когда-то, теперь – розово-лиловый, а козырек болтался на одной нитке посередине, отчего лицо его менялось в освещении, но выражение его оставалось одно и то же – упрямое, недоверчивое, осторожное, но самостоятельное, потому что весь он был отдан во власть одному, захватившему его целиком, стремлению: попасть на позиции.

– От-прав-ки! – покачал головой Мазанка. – Куда тебя, такого зеленого, отправлять? На кладбище?

– Ну да! На кладбище!.. Почище ваших ополченцев буду! – качнул козырьком Демка, однако из осторожности отошел.

Ливенцев отметил, какие тонкие были его босые ноги, и какие узкие, несильные плечи, и какие слабые, темного цвета, косицы спускались ему на шею из-под фуражки. Даже старый и лопнувший под мышками нанковый пиджачишка – и тот был какой-то подбитый ветром, под стать всей его бестелесной фигуре.

И он сказал Плевакину:

– Ополченцев ваших он авось не объест, – подкормили бы его немного, а потом можно отправить его домой.

– Гложет же он мослы на кухне! – отозвался Плевакин, а Макаренко добавил:

– То уж такая худородная порода... Жеребята вот тоже иногда такие бывают шершавые. Ну, те, правда, долго и не живут – подыхают.

Местность кругом была унылая: песок под ногами, чахлые низкорослые акации кое-где, с листьями наполовину желтыми, повисшими, сожженными жаром, и казармы со всех сторон. Даже голубая бухта, а за нею море не давали простора глазу. В бухте торчали пароходы, когда-то служившие для каботажного плавания, ныне ставшие тральщиками, а море... море стало совершенной пустыней, холодной, враждебной, растерявшей все веселые белые паруса и все заботливые мирные дымки на горизонте, а вместе с ними потеряло и всю свою ласковость, всю поэтичность.

II

С ополченцами дружины трудно было наладить занятия военной подготовкой. Поручик Кароли объяснял это тем, что они не имели необходимого солдатского вида.

– Ты ему разъясняешь всякие его там солдатские обязанности, за неимением прав, а у него на голове бриль соломенный, а на ногах – постолы из рыжего телка!.. Спросишь его: «Да ты откуда такой взялся, что стоишь и десятый сон видишь и глаз расплющить не можешь?» – «А я из экономии, говорит, волів пас». – «А добрые ж были волы?» – «Авже ж добрые... У богатого пана уся худоба добрая...» Ну, вот и говори с ним о волах, да о баранах, да почему у них там сало свиное... А какой же из него, к черту, солдат? Накажи меня бог, – насмешка над здравым смыслом с ними чертовщиной всякой заниматься! Пускай лучше песни орут.

И ополченцы маршировали в своих брилях и постолах из свежих шкур телят своего убоя и орали песни. Песен этих было всего четыре. Если шли неторопливым шагом, как идут люди на серьезный, но отдаленный все-таки подвиг, то пели:

Пише, пише царь германский,
Пише русскому царю:
«Разорю твою я землю,
Сам в Расею жить пойду!»
Зажурился царь великий,
Смутный ходит по Москве...
Не журился, царь великий, —
Мы Расею не дадим!

Если шаг мог быть просторнее и вольнее, как у косцов, когда возвращаются они с сенокоса, то пели про благодушное, домашнее:

Ехал купчик из Бер-дьян-ки, —
Пол-то-раста рублей сан-ки!
Пятьдесят рублей ду-га, —
Ах, цена ей дорога!

Если шагу придавали некоторую торопливость, неразлучную с представлением о какой-нибудь деревенской трагедии, например, о пожаре, требующем общенародного действия, то пели:

Как у нашей у деревни
Нова новина:
Не поймали шуки-рыбы,
Поймали линия.
Раздвигались, рассмотрелись,
Аж воно – дитя!
Аж мало дитя!

Наконец, если идти надо было побыстрее и повеселей, тем шагом, какой на военном языке называется форсированным, то пели «Ухаря-купца». Эту песню пели с особыми вывертами и высвистами, по-своему переиначивая слова:

Ехал на ярморок юхорь-купец,
Юхорь-купец, д'юдалой молодец!
В красной рубаше, в серых штанах,
Ходит по вулице весел и пьян...
Девоч и бабов ен поит вином.
Эх, пей, пропивай, все равно пропадем!

Песню эту пели с особым одушевлением: должно быть, настроениям ополченцев она отвечала больше, чем другие.

Впрочем, была еще песня, которую пели ополченцы только в присутствии начальства, – например, командира дружины или командира бригады, генерала Баснина, который поначалу, по новости дела, раза три приезжал в дружину, пока не надоело. В этой песне были такие боевые строки:

Дружно мы станем стеной на германца,
Докажем, что есть ополченцы в бою!
Смело пойдем воевать со врагами,
Положим живот свой за веру-царя!

Во всех этих песнях, и боевых и разгульных, Ливенцев все-таки не слышал ничего боевого, ничего разгульного, и больше понимал он базарных торговков, когда приходилось с ратниками из своих амбаров-казарм проходить мимо базара в поле, где только и можно было развернуть как следует огромную ополченскую роту.

Торговки говорили сожалеюще: «Апольченцев гонють!» – и это была правда.

Дружина была собрана в Екатеринославщине, но не только украинцы в нее попали: были и греки из-под Мариуполя, были немцы из колоний; были русские, рабочие и шахтеры, захваченные мобилизацией на местах работы; были евреи, были татары, были армяне... И у всех замечалась эта ошеломленность, какая бывает у мыши, оглушенной захлопнувшейся внезапно железной дверцей мышеловки; кроме того, у всех была затаенная обида на эту нелепую мобилизацию потому даже, что никто не хотел верить, будто их могут погнать на фронт. Все думали, что война кончится и без них: «Мало ли солдат было в полках? Мало ли было казаков? И разве в японскую войну брали ополченцев? Почему же вдруг теперь?..» И были такие, что не только верили сами, что вот-вот распустят их по домам, как забранных по ошибке и бестолковости властей, но пробовали убеждать и других. Больше всего сбивало с толку то, что долго не выдавали гимнастерок и шинелей. Не хотели думать, что нет этих шинелей, и рубах, и сапог, и фуражек, и даже поясов с железными бляхами. А не выдают – значит сами сомневаются, нужно ли выдавать их, не будет ли это совершенно зря, а новые вещи ополченцы в какой-нибудь месяц приведут в негодный хлам.

В ротах особенно угрюмые лица были у хозяйственных многосемейных степняков старых сроков службы, а среди молодежи, склонной вообще к артельной жизни, попадалось достаточно беспечных и веселых – плясунов, гармонистов, балалаечников... Были даже сказочники, вменившие себе как бы в обязанность рассказывать по вечерам сказки, и чем эти сказки были длиннее, тем они казались занятнее: коротких слушать не любили. Даже и анекдоты требовались подлиннее и позакрученней.

И в то же время покупали много газет и сходились кучками слушать последние новости с «театра военных действий». И сразу обозначались среди ратников яростные политики, зараженные газетной одногласицей о задачах и целях войны и не допускавшие мысли, что война не окончится через два-три месяца.

Но во всей дружине, насколько мог наблюдать ее всю Ливенцев, не было никого, кто бы стремился как можно скорее «положить свой живот за веру-царя», торопился бы получить солдатскую обмундировку и щеголять в ней себе на радость и кому-то на утешение, – никого, кроме вот этого самого тринадцатилетнего Демки, бежавшего от своего отца, позолотчика иконоставов.

Он был уже теперь здесь. Выгнал ли его Плевакин из артиллерийской казармы, или он решил, что скорее отправят на фронт пехоту, и перешел сюда сам, – только его встретил уже в своих казармах Ливенцев дней через пять после ревизии. На тонких ногах его были чьи-то добротные опорки; козырек плотно пришит кем-то к картузу; пиджак нанковый тоже починен.

– Демка, Демка, и охота тебе тут околачиваться без дела! – сказал ему Ливенцев. – Ехал бы ты домой, а?

– Не поеду! – твердо ответил Демка. – Домой!.. Тут я, может, подводную лодку увижу, а дома что?

– Где же ты ее тут увидишь?

– На берегу, – где!.. Она ведь по дну морскому ходит, а на берег должна же когда вылезать.

– Гм... как же она по дну может ходить?

– Как! Очень просто: на колесах катится.

Демка смотрел на Ливенцева исподлобья и, пожалуй, даже презрительно: не знает таких простых вещей, а еще офицер!

– Кто ж тебе это сказал, Демка?

– Кто! Я сам знаю... А то тут тоже начальник дружины кричит: «Горниста мне сюда! Горнист где?..» Горнист этот самый прибегает с трубой, а он ему: «Послушай, горнист! Что бы нам такое сыграть?» Ей-богу! Не знает, что горнист играть должен!

– Гм... Демка, Демка! Разве так можно о начальнике дружины говорить? Он начальник дружины, полковник, а ты что такое?

– Я?.. Мне бы только до фронта доехать, я бы им показал! – мрачно пропустил сквозь зубы Демка, и костлявые кулаки его воинственно сжались.

– Кому бы ты показал? Немцам?

– А то кому же!.. А то идут, поют: «Пойдем резать москалей!» Как это стерпеть можно?

– А почему же ты знаешь, что они там поют?

– В газете вон – люди читали... «Мо-ска-лей резать!..» Это они нас москалями зовут... А я бы их прямо, как «Охотник за черепами»! Э-эх! – Демка тут до того свирепо поглядел на Ливенцева, что тот расхохотался.

– Демка, Демка! Вот они у нас где – охотники за черепами таятся! А я и не знал.

– Пускай мне винтовку дадут, – попросил вдруг Демка. – Я и в строю буду ходить тоже... с винтовкой.

– Тяжела тебе винтовка будет. Кабы трехлинейка – та полегче, а то – берданка. А в берданке одиннадцать фунтов.

– Ну что ж, одиннадцать! Не донесу, что ли? Я уж пробовал, носил.

– Такие Гавроши, как ты, брат Демка, хороши бывают во время уличной войны – патроны на баррикады таскать. А на этой войне чтобы тебе охотником за черепами быть – ничего не выйдет! Там тебя снарядам за пять верст ухлопают, и никто этого даже и не увидит, может быть. И ты сам и не успеешь даже подумать, что это с тобой случилось, как от тебя уж тогда одни брызги останутся. Брось о немецких черепах думать и поезжай в свой Мариуполь. Денег на дорогу я тебе, так и быть, дам, Демка.

Ливенцев говорил это как можно серьезнее, чтобы подозрительный мальчуган не усмотрел в его лице или в оттенке голоса и тени шутки, но Демка вызывающе качнул головой:

– Брызги-ги!.. Тоже еще... брызги! – и пошел от него проворно, больше недовольно, чем испуганно, удивив его тем, что не попросил денег на проезд, как мог бы сделать это другой:

ведь деньги на то на се бывают и мальчишкам нужны. Еще заметил Ливенцев, когда он повернулся от него круто, что глаза у Демки раскосые. Он подумал, что вот как хитрил этот охотник за черепами, глядя исподлобья и в упор, когда говорил с ним: он боялся, должно быть, что косоглазие его заметят и за это его забракут и не возьмут на фронт.

III

На другой день, когда Ливенцев был в канцелярии дружины, получилось, вместе с другою почтою, письмо на имя полковника Полетики. Тот начал было читать его, но безграмотность письма, и серая бумага, и расплывшиеся местами чернила не расположили его к чтению до конца.

– Чепуха какая-то! Мальчишка какой-то у нас будто... Ерунда! – и бросил письмо в плетеную корзину под стол.

– Позвольте! Мальчишка? У нас действительно есть мальчишка... Демка. Охотник за черепами... – сказал Ливенцев и вытащил из корзины письмо.

Вот что это было за письмо:

«Ваше высокородие!

У вас ходитса мальчик убежавши вместе с поездом военный и сейчас увашей друшины имя его Димян Семенов Лабунский глаза раскосия то все покорнейше прошу вас умоляю при-проводить его в город Мариуполь дом Краснянского улица Фонтальная а вам и всему воинству жалаю быть счастливы в своем деле родители его Семен Михайлыч и Васелиса Никитечно».

Письмо это Ливенцев спрятал в карман, так как Полетика был занят важным делом: пришла из штаба бригады бумага, что дружина получает фуражки, шинели и сапоги, за которыми надо будет явиться заведующему хозяйством с каптенармусами и подводами от каждой роты.

Когда Ливенцев сказал в своей роте, что наконец-то выдают дружине шинели, сапоги и прочее, он усиленно следил за лицами и не верил глазам: ни одного опечаленного этим лица он не заметил.

Даже те, которые уверяли других, как он знал, что совсем не думает начальство гнать их на фронт, потому-то и не выдает им обмундировки, – и те спрашивали его только о том, подарят ли им за службу шинели и сапоги, когда кончится война.

Он отвечал убежденно:

– Ну еще бы не подарят! Непременно должны подарить... как солдатам, уходящим в запас.

И они становились вполне довольными и хлопали друг друга по спинам: все-таки шинель, сапоги, суконные рубахи, шаровары, – все это кое-каких денег стоит и ноское, хватит надолго.

И несколько дней потом прошло не в бестолковой, а вполне осмысленной суматохе: в четырех огромных ротах дружины пригоняли, ввиду наступающей осени, теплую казенную обмундировку, в которой люди, распущенные зимою, по окончании войны, разъедутся по домам, – это было похоже на дело.

Но, получив обмундировку, дружина стала назначаться комендантом города в наряды на гарнизонную службу. И однажды Ливенцев был отправлен с восемьюдесятью ратниками в распоряжение градоначальника.

Помещение для назначенных в наряд отвели на паровой мельнице грека Ичаджика, где на дворе кишели утки, пожирая отруби из кормушек и разводя кругом вонючую грязь. В длинном подвальном этаже мельницы поставлены были нары и висел телефон для связи с градоначальством, но до сумерек никто не звонил. А когда стемнело, явился городской, чтобы отвести

двадцать пять человек при старшем унтер-офицере на сторожевую службу. Через два часа он же пришел за сменой.

Отлучаться с мельницы сам Ливенцев не имел права: могло быть передано по телефону из градоначальства какое-нибудь важное распоряжение. А пришедшая на отдых первая смена почувствовала себя заметно сконфуженной.

– Что вы там делали полезного для отечества? – спросил своих ратников Ливенцев.

Ратники фыркнули и закрутили головами, а унтер-офицер Старосила, человек борода-тый, степенный, старше сорока лет, ответил, подумав:

– Ну, одним словом вам сказать, ваше благородие, ащеульничали!

– Как? Ащеульничали?.. Гм... Слово весьма малопонятное и требует объяснения, – сказал Ливенцев, пытаясь сам догадаться, что значит и это слово и сконфуженность ратников.

– Дома эти самые нехорошие тут поблизу, – пояснил Старосила. – И вот, одним словом...

– Какие нехорошие дома? Терпимости, что ли?

– Так точно!.. И вот, стало быть, по одной улице дома – к этим девкам матросня ходит, а на другой улице рядом – там для артиллерии девки...

– Хорошо, а вы были при чем? Для ополченцев, что ли, дома там отводились?

– Никак нет. Ополченцам пока нет такого положения.

Ратники прыснули.

– Не понимаю, что вы могли там делать! – сказал Ливенцев, испытующе глядя в бороду Старосилы.

– Мы, ваше благородие, вроде бы патрулями ходили, чтобы скандалу где не было, а также вредной драки. Через то это могло быть, что матросня, она, конечно... ей, одним словом, получше девки пришлись, а что касается артиллерии – той похуже.

– Ну?

– Ну, а всякому, ваше благородие, хочется, чтобы получше, вот через то артиллерия к матросне на улицу лезет, и начинается тут у них свалка на улице: артиллерия лезет, а матросня не позволяет.

– А вы что должны были делать?

– А мы, вроде бы, должны их разводить, ваше благородие.

– Вот так раз-во-дя-щие!

Ратники хохотали кругом.

– Известно, на военной службе всего насмотришься, – кротко закончил Старосила.

– Хорошо, – сказал Ливенцев. – Вот вернемся в дружину, я подам командиру рапорт, что это за наряд такой и нельзя ли этот наряд на будущее время похерить... А теперь пока ложись, хлопцы, спать!

Но долго не спали ратники, а залиvisto хохотали по углам; действительно, наряд был не совсем обыкновенный. И кто-то просил ротного сказочника Дудку рассказать сказку.

Дудка был очень толстогубый, молодой еще малый, угрюмого вида, так что предположить в нем сказочника никак не мог Ливенцев, и он начал, проворно шлепая губами, длинную, что было важно, сказку о трех Иванах: коровьем, кобыльем и овечьем, и каком-то Лиходее, который держит под замком на высоченном дубу красавицу. Эту красавицу и хотят освободить Иваны и взять себе в жены.

Сначала едет к Лиходею Иван Овечий, а Лиходей говорит:

– Ты приихав до мене биться, чи мириться?

Иван Овечий тому Лиходею ответ:

– Я приихав до тебе совсим не мириться, – хай ты сгоришь, а приихав я до тебе биться!

– Да как-ак вшкварит ему! – замахивается кулаком Дудка, а слушатели хохочут от удовольствия.

Лиходей оказался сильнее все-таки Ивана Овечьего и его одолел. Но пока они бились, вертелась тут же поблизости сорока. «Они бьются себе, они бьются, а сорока стрекочет-регочет...» И когда убил Лиходей Ивана Овечьего, сорока полетела за мертвой и живой водой. А Иван Коровий, не дождавшись Ивана Овечьего, поехал к Лиходею и натывается на убитого, который «лежит себе ни мур-мур...».

Покуривая толстую кручонку и то и дело сплевывая на пол и затирая сапогом, Дудка рассказывал однообразно, но складно, как Лиходей убил и Ивана Коровьего и потом Ивана Кобыльего, но сорока оживила тем временем Ивана Овечьего, и только что управился Лиходей с Иваном Кобыльим, снова идет на него биться, а не мириться Иван Овечий, а потом – воскрешенный сорокой Иван Коровий, а там – Иван Кобылий... Конечно, Лиходею ничего не остается делать, как бежать от этих бессмертных и уступить им красавицу на дубу.

Как раз когда кончил свою сказку Дудка, пришла, также фыркающая от смеха, вторая смена, а с нею вместе неожиданно для Ливенцева пришел Демка. Оказалось, что он встретил эту смену недалеко от мельницы Ичаджика и кого-то узнал из ратников.

– А-а! Демка! Где же ты пропадал последнее время? – спросил Ливенцев. – Кажется, с неделю я тебя не видал.

– Я-то?.. Я в Балаклаве был, – попытался улыбнуться Демка, но улыбка ему вообще не удавалась.

– В Балаклаве? У кого же ты там был? У ротмистра Лихачева?

– Ага!.. В эскадроне.

– Ты что же думал, что эскадрон наш на своих лошадях скорее до фронта доскачет, чем мы пешие дойдем?

– Ага! Верхово ездить учился, – буркнул Демка.

– Гм... Засела в тебя эта скверная идея – охотиться за черепами немцев. Ах, Демка, Демка!

– А что же им – спустить это? – при электрической лампочке сверкнул раскосыми глазами Демка. – Никогда не спущу!

– Чего же ты именно не спустишь?

– Того!.. Как это они наших солдат пленных живыми в землю закапывают? Хорошо это? Спустить это можно?

– Откуда ты это знаешь?

– Знаю! Ребята в газетах читали!

– Может, это и выдумка: немцы – народ культурный.

– Выдумка! Пальцы нашим пленным отрезают, чтоб они больше стрелять не могли. А каких прямо в землю...

– А немецкие газеты про наших солдат то же самое пишут.

– Не-ет! Наши этого не сделают. Пускай не брешут!

– Давай с тобой лучше думать, что все это – одна брехня на человека, кто бы он ни был... И потом вот что, Демка... Ты ел что-нибудь сегодня? Может, это ты с голодухи такой свирепый?

– А то не ел? – подозрительно поглядел Демка.

– А что же ты так поздно по улицам ходишь?

– Да я ведь прямо из Балаклавы сюда.

– Тебя, что же, погнали оттуда?

– Ну да, «погнали»! Я сам ушел... Когда они на войну даже не собираются. А вам уж шинеля выдавали.

– Шинеля и там будут получать не сегодня-завтра. Только там шинеля другого образца – с длинным раструбом... А домой тебе не хочется ехать?

– Чего я там забыл? – насупился Демка.

– Отца с матерью забыл... Семена Михайловича и Василису Никитичну.

Демка, услышав это, оглянулся кругом, ища глазами, кто мог тут сказать этому прапорщику, как зовут его отца и мать, но, не найдя такого, уставился, усиленно мигая, на Ливенцева.

– Думаешь, откуда я мог взять Семена Михайловича и Василису Никитичну? Добрые люди сказали... Нехорошо, брат Демка! Даже если ты и кровавым мстителем хочешь быть – не советую. Без тебя у нас в России народу хватит. Чего другого, а народу – сколько угодно... Ехал бы ты лучше к своим старикам, право.

– Они разве старики? Вот, значит, вы и не знаете! – повеселел Демка. – Вовсе они не старики еще.

– Чем же тебе они надоели? Бьют, что ли, тебя?

– Ну да! Еще чего! Бью-ут! – И Демка поглядел с вызовом.

– Я тоже слышал о них, что люди они хорошие... И будто они о тебе беспокоятся, что ты здесь зря погибаешь. Что зря, то зря – это правда. Ехал бы ты лучше домой.

– Уж вы мне один раз это говорили... Домой! – презрительно протянул Демка и вдруг пошел проворно к двери.

– Куда ты? Заблудишься в темноте! Уж так и быть, – пришел, так ложись спать в нашей гостинице! – кричал ему Ливенцев, но он все-таки ушел.

А Старосила говорил Ливенцеву:

– Его, ваше благородие, теперь уж на путь не наставишь. Теперь отец-мать без него живи; этот малый погибший.

IV

Получен был приказ докупить для надобностей дружины к тем, какие стояли уже на конюшне, еще десятка четыре лошадей – обозных, ротных и ординарческих, и так как на покупку выдавались из полевого казначейства довольно большие деньги, то естественно, что это взволновало офицерский состав дружины.

Попасть в полковые ремонтеры издавна в русской армии считалось большой удачей жизни, хотя и требовало известного знания лошадиных статей и повадок коннозаводчиков и барышников. Теперь, после мобилизации лошадей, многое из трудностей этого дела было упрощено, а денежный соблазн остался тот же самый.

Поэтому все в дружине яростно стремились попасть в ремонтеры, а так как дружина сформирована была в Мариуполе, то всеми предлагалось ехать за лошадьми не куда-нибудь еще, а непременно в Мариуполь.

Командир дружины, Полетика, выслушивал всех довольно добродушно, потому что не имел привычки кого-нибудь слушать внимательно, а всегда думал о чем-нибудь своем или ни о чем не думал, но, наконец, сказал он с чувством:

– Красавцы, черт вас возьми! Ведь это – вопрос... как его называют... ну?

– Восточный? – подсказал было Ливенцев.

– Да не восточный, а... какой там, к черту, восточный!.. Одним словом, серьезный вопрос. И лучше, кажется, я уж поеду сам, да... А чтобы торговаться там крепче, то я возьму вот адвоката нашего, – кивнул он на Кароли.

– А лошадей кто будет выбирать? – живо отозвался Кароли. – Это дело тонкое – лошадь выбрать... Разве для этого фельдфебеля нестроевой роты, Ашлу, взять?

– Ашла-шашла... гм... Шашла... это что такое? – спросил его Полетика.

– Виноград есть такой десертный.

– Да-да... Помню... – несколько раз поднялся на цыпочки полковник, вздохнув. – Душистая такая?

– Есть душистая, – та называется мускатная шашла.

– Шашла-шашлык... Будто из этой... как ее?... из шашлы шашлык делается? Гм... шашлык, ведь он из баранины?.. – взял за пуговицу капитана Урфалова Полетика.

Приземистый капитан Урфалов сильно потянул коричневым изогнутым носом, точно перед ним был свежезажаренный шашлык, а не Полетика, и сказал уверенно:

– Первая, изволите видеть, закуска под водку, господин полковник!

– Надо бы здесь когда-нибудь заказать, а? Вот вы это можете... А за шашлой... гм... зачем же за шашлой нам ехать в этот... как его?... в Мариуполь?

– Насколько я понял, за лошадьми будто бы в Мариуполь, – не удержался, чтобы самым серьезным тоном не вставить, прапорщик Ливенцев, и Полетика, помигав несколько секунд мечтательными голубыми глазами, счел нужным рассердиться вдруг:

– А, конечно, за лошадьми! За коим же еще чертом мы в эту Ашлу? И вы никуда не поедете, вы останетесь здесь, в дружине!

– Да я и не собираюсь никуда – ни в Ашлу, ни в Ош, ни в Оршу!

Подполковник Мазанка очень поморщился, поглядев в его сторону, а Кароли постарался взять точное направление на Мариуполь и на лошадей, и деловая беседа о том, кого взять и как ехать, затянулась еще на целый час, причем Ливенцев все не мог понять, зачем хочет ехать в Мариуполь сам Полетика, когда ему гораздо спокойней было бы сидеть здесь в канцелярии и подписывать, что поднесет на подпись адъютант, а потом зайти в кондитерскую, спросить стакан кофе и пирожных, сесть за мраморный столик и дожидаться, когда девицы в белых фартуках поднесут то и другое. А через минуту уже по-детски заскучать от бездействия и погрозить девицам пальцем:

– Вы что же это не несете мне этого... что я заказывал?... Смо-три-те! А то сейчас придет сюда еще один полковник, с большими-большими усами, очень строгий! Он вам тогда задаст!

Девицы начнут хихикать, а Полетике будет казаться, что действительно обещал зайти и действительно зайдет сейчас подполковник Мазанка, и он будет нетерпеливо ждать его, поглядывая на дверь, наконец скажет сердито:

– Черт знает что! Нет и нет его до сих пор! – и пойдет из кондитерской на улицу как раз в то время, когда одна из девиц уже нальет ему стакан кофе и положит на тарелочку пирожных.

На улице он встретит ратника не своей дружины, а другой, которой командует генерал Михайлов и которая разбросана от Балаклавы вдоль берега до Фороса – охраняет берег.

– А-а! – скажет он ратнику. – Здравствуй, братец!

– Здравия желаю, вашескородье! – грянет во весь голос ратник.

– Ты откуда сюда?

– Из Фороса, вашескородь!

– Что же, командир ваш там как? Жив?

– Так точно, жив!

– Ну, ступай!

– Я так что артельщика дожидаю, он в магазин пошел, вашескородь!

– А! Ну, тогда стой.

Потом увидит другую кондитерскую, вспомнит о кофе и пирожных и зайдет сюда.

Конечно, это гораздо спокойнее, чем ехать куда-то в Мариуполь, возиться с лошадьми, считать казенные деньги, заниматься сложением и вычитанием, не высыпаться в гостиницах...

Но, слушая бестолковщину в канцелярии дружины, Ливенцев нащупал случайно письмо Семена Михайлыча и Василисы Никитичны Лабунских, которое он несколько дней уже носил в боковом кармане тужурки, и у него возникла простая и убедительная мысль – отправить вместе с Кароли в этот поход за лошадьми в Мариуполь и Демку, потому что другого подобного случая может и не быть, и вернее всего, что не будет.

Когда Ливенцев улучил время сказать об этом Кароли и показал ему при этом письмо с адресом: «Фонтальная улица, дом Краснянского», Кароли даже просиял:

– Как же! Фонтальная улица!.. Я на Фонтальной улице детство свое провел! Помню, как по ней греки с говяжьими костями бегали... Ведь у греков кость дорого стоит он ее сам в своем супу часа два варит, потом на улицу с ней выбежит и кричит: «Кре! Кре! Кре-е-е!» – бегут гречанки, по копейке платят, чтобы в своем супу поддержать для вкуса пять минут... Больше пяти минут держать не полагалось, а ему доход: одна пять минут поддержит – копейку дает, да другая, да третья, – вот ему три копейки остается. А потом уж кость эту на вес продает тем, кто кости собирает, – еще копейку за нее получит.

Увлечшись приятными воспоминаниями детства, Демку он обещал непременно взять.

Ливенцев хотя и видел Демку в этот день около бухты, не решился раньше времени говорить ему ничего, и только в день, когда стало известно, что вечером выезжают на пароходе Полетика, Кароли и несколько заядлых лошадятников из ополченцев во главе с фельдфебелем Ашлюю, он сказал ему:

– Слушай, Демка! Тебе, брат, везет, как дай бог, чтоб целую жизнь везло! Только не прозевай. Иди вечером на пароходную пристань: отправляются в Одессу, а оттуда на фронт... понимаешь? – на фронт, куда ты так стремишься, – сам командир дружины, поручик Кароли и еще несколько человек ратников. Вот и ты там устроишься с ними.

Ливенцев сказал это как мог таинственной и вполголоса, и Демка вздернул узенькие плечи и как-то боком, криво открыл рот, а глаза глянули на прапорщика и подозрительно и бешено-радостно в одно и то же время.

– Вы... это правду говорите? – прошептал Демка.

– Чистейшую! – не улынувшись и не моргнув, отвечал Ливенцев, чувствуя себя врачом у постели смертельно больного. – Я ведь говорил тебе, что надо бы тебе домой ехать, а теперь вижу, что ты этим военным ядом отравлен до неизлечимости, – значит, все равно. Хочешь погибнуть там, – погибай, твое дело!

– Я не погибну, не таковский! – сжал кулаки Демка и даже челюстями заскрипел.

– Может быть, и не погибнешь... Так вот – фронт так фронт. Только не прозевай парохода.

– Как же они одни едут? А дружина вся?

– Дружина пойдет за ними следом... они квартирными едут. Будут смотреть, куда там, на позициях, всю дружину поставить... Это всегда так делается, – вот почему сам командир и поедет... Одним словом, дело твое. Мне уж отговаривать тебя надоело, – попытайся, посмотри, что за позиции такие. Я думаю, что ты и сам сбежишь и что уж больше тебя тянуть на смерть не будет.

– На смерть! Я не пропаду, небось!.. Я... А шинель и винтовку мне дадут?

– Там, до Одессы доедешь, дадут. От Одессы до фронта там уж близко. Пятьсот тысяч войск там стоит.

– Ого! Пятьсот тысяч!.. Больше, чем всего народу в Севастополе!

– Ну еще бы!.. Так вот, не зевай...

И так как Ливенцев подумал вдруг, что Демка будет теперь спрашивать всех в дружине насчет этой скорой отправки и кто-нибудь скажет ему, что едут совсем не в Одессу, то он добавил:

– Если хочешь ехать, то здесь уж не околачивайся, а иди прямо туда, где пароходы отходят. Поручика Кароли ты ведь знаешь в лицо?

– Ну да, знаю.

– Вот! И командира, конечно, знаешь... Как только увидишь, что они на пароход садятся, ты сейчас же к ним.

– А не прогонят? – прошептал Демка.

– Я их упробил, – так же шепотом и таинственно ответил Ливенцев.

Демка снял благодарно свой лиловый картуз, а потом, когда надел его снова, по-солдатски поднес руку к козырьку и отошел, и следивший за ним глазами Ливенцев видел, что он не желал даже ждать здесь до вечера, а прямо пошел на пароходную пристань. Так как он знал, что этим же вечером отходит пароход и на Одессу, то не боялся вполне понятного любопытства Демки. Ашлу же он предупредил, чтобы так именно и говорили воинственному мальчугану, что едут сначала в Одессу, а оттуда немедленно на фронт.

Прошло дней десять.

Приказы по дружине подписывал вместо Полетики Мазанка, в ротах занимались все теми же ружейными приемами и сборкой-разборкой винтовок (выдали всем винтовки), ратники читали «Русское слово» и гадали, к новому году распустят их по домам или так на месяц, может быть, раньше? Они уже знали, что командир дружины уехал докупать лошадей, но лошади лошадьми, а роспуск ополченских дружин роспуском, одно другому не должно было мешать. Наконец, появились в канцелярии дружины и Полетика и Кароли; Ашлу с другими ратниками оставили около купленных лошадей, которых не так просто оказалось доставить.

Как всегда у людей, только что купивших лошадей для хозяйства, у Полетики и Кароли был приятно возбужденный вид. Особенно расхваливал Полетика какого-то буланого в яблоках, с черной гривой, которого удалось купить очень дешево, хотя, разумеется, значительно дороже, чем остальных.

– Но уж зато картинка! Это прямо поразительно, до чего... Буквально заглядеться можно! – восхищался несколько как будто даже помолодевший за эту хлопотливую поездку Полетика. – Этого коня я уж никому, не-ет! Я его себе возьму под седло... Я уж ему и имя дал... как, а? – обратился он вдруг к Кароли за помощью.

– Десять имен вы ему за день надавали! И я уж не помню последнее, – пожал плечами Кароли и выпятил губы.

– Вот! Вот видите: «Не помню»! А на меня все говорят, что я не помню!.. Сарданапал?

– Мазепа, кажется?

– Мазепа, да! Мазепа! Пусть так и будет – Мазепа!

– Если брать исторические имена, – сказал Ливенцев, – то, по-моему, лучше уж современные... Франц-Иосиф, например, – чем плохо? Все-таки верхом на Франце-Иосифе приятнее ехать, чем на каком-то мифическом Сарданапале... даже и на Мазепе.

– Постойте, а вы... вы что же это, прапорщик? – вскинулся вдруг на него Полетика и лицо сделал строгим. – Вы кого это, кого нам подкинули?

– А, да! Кстати, как он? Доехал до Мариуполя? – с живейшим интересом спросил Ливенцев.

– Послушайте, он, – накажи меня бог, – одержимый какой-то, его в смирительный дом надо, – ответил Кароли за Полетику, который только разевал рот и смотрел оскорбленно. – Если б я знал, я бы его на выстрел не подпустил. Я ведь ему билет купил на ваши деньги, честь честью, и только что мы отчалили, он и пошел выкаблучивать! Буквально какой-то ирокезский танец на палубе поднял и орет: «На фронт! На фронт едем! Немцев бить!» Прыгает, на руках ходит... Что же это такое за военный припадок? Люди кругом хохочут, а у него шахсей-вахсей какой-то... ей-богу, он чуть за борт не полетел, вот как разбесновался.

– Ну, хорошо, – а дальше?

– Дальше? До Ялты доехал ничего, – спал, должно быть, что ли, а уж вот как к Феодосии подъезжали, тут с ним и началось! Лезет к нам в каюту второго класса, понимаете, напролом лезет! Его гонят, а он... Понятно, нашелся какой-то дурак, сказал ему, что не на фронт, а в Мариуполь едем... Такого крику наделал, что его, видите ли, обманули, боже ж мой! В Феодосии он и остался, мерзавец этот.

– Я вам, прапорщик, выговор в приказе объявлю завтра! – нашел, наконец, нужные слова Полетика.

– Может быть, и следует, – кротко отозвался Ливенцев. – Но ведь не думал же я, что до такой степени опротивело ему ремесло позолотчика иконостасов, что он заболит адской любовью к войне. Вот до чего иногда иконостасы доводят!

Глава третья

Идиотский устав

I

Этого не было в приказе по дружине, чтобы офицерам собраться к восьми часам вечера для тактических занятий под руководством самого командира дружины, полковника Полетики; прапорщик Ливенцев получил записочку об этом от адъютанта дружины Татаринова, через одного из писарей канцелярии штаба дружины, когда было уже часов шесть.

Он спросил писаря:

– Почему такая экстренность? Что случилось?

Писарь улыбнулся и ответил:

– Не могу знать.

Ливенцев ведал охраной туннелей и мостов под Севастополем, и в его распоряжении было до полутораста ополченцев, стоявших постами около охраняемых мест. Они там жили в нарочно для этого устроенных землянках, на каждом посту свой унтер-офицер за старшего; на постах стояли с винтовками и при проходе поезда вели себя так, как полагалось часовым по гарнизонному уставу.

Ливенцев объезжал сначала ежедневно, потом раз в два-три дня посты на дрезине, которую давали ему на станции «Севастополь», принимал рапорты унтер-офицеров, что на таком-то посту никаких происшествий не случилось, раздавал кормовые деньги, так как люди на охране пути довольствовались сами, как хотели и могли, привозя только хлеб из роты.

Это давало Ливенцеву кое-какой досуг, и он мог бы даже иногда урывками продолжать свою работу над диссертацией, прерванную мобилизацией, но жуть великой войны не давала возможности сосредоточиться на чем-нибудь другом, кроме газет и телеграмм с театров военных действий.

Он хотел было не идти на эти тактические занятия, пользуясь своим положением командира части, стоящей в отделе. Но так как в штабе дружины всем было известно, что живет он отнюдь не на каком-либо из постов у туннелей, а в Севастополе, на той же Малой Офицерской улице, на которой жил и прежде, то неудобным показалось не пойти.

А уж декабрь мерно отсчитывал свои тяжелые дни. Истекали все сроки конца войны, которые намечал и про себя и вслух Ливенцев. Война продолжалась.

Дружина помещалась уже теперь не в портовых сараях, а в бывших казармах Белостокского полка, ушедшего на фронт в самом начале войны. Временно занимал потом эти казармы другой полк, из запасных, но и его зацепил крючок войны и потянул на тот же фронт, и, доживая последние дни в Севастополе, полк этот сдавал теперь дружине кое-какое имущество, которое считалось излишним там, в окопах.

Для «принятия имущества» этого и была командиром бригады ополченцев назначена комиссия из трех лиц от двух дружин: от одной – начальник дружины, генерал-майор Михайлов, от другой – командир роты, капитан Урфалов, а третьим был назначен прапорщик Ливенцев, должно быть потому, что он – математик и хорошо сумеет сосчитать все эти старые хомуты, вещевые мешки, шинели второго срока, подсумки, набрюшники...

Теперь, когда с последней остановки трамвая Ливенцев шел на тактические занятия и засияли в темноте желтыми огнями окна верхних этажей казармы, он вспомнил, как при этой приемке пропахших мышами и плесенью вещей, – причем генерал Михайлов, чтобы дышать свежим воздухом, расположился со всей комиссией на балконе цейхгауза, высоко, под черда-

ком, – он, Ливенцев, всегда казавшийся всем веселым и спокойным, в первый раз за время службы в дружине совершенно вышел из себя.

Было время обеда, и запасные обедали, окружив котелки, тут же на дворе казарм, но какой-то молодой и ретивый штабс-капитан гонял свою роту из конца в конец по двору и кричал:

– По-ка не прой-дете как следует, сукины дети, не пушу обедать, не-ет!

И одиннадцать раз эта несчастная рота прошла перед ним туда и сюда, пока, наконец, возмутился Ливенцев и, возмущившись, прямо в широкое, серобородое, красное, угреватое лицо генерала крикнул:

– Что он гоняет их, этот стервец?! Ведь ему, идиоту, первая же пуля в затылок будет за это от своих же солдат!.. Остановите этого болвана, ваше превосходительство!

Генерал снял очки, встал, взял под козырек и сказал:

– Слушаю, господин прапорщик!

Потом оперся на перила балкона и очень зычно, как-то нутром, закричал:

– Эй, вы там! Штабс-капитан такой-то, имярек!.. Сейчас же распустишь нижних чинов обедать!

Штабс-капитан недоуменно пригляделся к балкону, заметил, конечно, красные генеральские лампасы на брюках Михайлова и широкие погоны без просветов, удивленно отдал честь и махнул левой рукой своей роте:

– О-бе-дать!

Рота побежала составлять винтовки, топоча по булыжнику радостными сапогами.

– Ну, вот и хорошо! – сказал Ливенцев, благодарно поглядев на генерала.

– Рад стараться, господин прапорщик! – по-фронтовому отчеканил генерал, не мигая глазами, потом сел как ни в чем не бывало, протер платком и надел очки и спросил деловым тоном:

– Так сколько там вещевых мешков насчитали годных, сколько никуда не годных, чтобы нам не сбиться с панталыку?

А Ливенцев, выясняя насчет мешков, говорил, чтобы оправдать для себя же самого свою горячность:

– Люди идут на фронт, и недели через две, может, от них и четверти не уцелеет, а он их тут шагистикой какой-то паршивой морит!.. И какому черту она, спрашивается, теперь нужна?

– Понятно-с... Понятно-с... Очень-с все понятно-с... – отзывался генерал и спрашивал: – Теперь как там выясняется дело с подсумками?

Ливенцев решил тогда об этом генерале Михайлове, что он – человек, должно быть, со странностями, но невредный.

И еще, подходя к казарме, вспоминал он, как здесь переживал обстрел, первый раз в своей жизни, настоящий обстрел настоящими снарядами.

Это случилось в середине октября, часов около семи утра, когда он брился, готовясь, напившись чаю, идти в дружину, где как раз в этот день должны были приводить к присяге молодых ратников.

Он брился не спеша, как обычно, когда вдруг загремело страшно вверху где-то и кругом и чуть не вылетели рамы в его комнате. Потом еще и еще, раз за разом... Он вскочил было, но так как обрил только правую щеку, сел добриться и чуть не порезался – до того волновались руки. Он не сомневался, что это – настоящее, такое же самое, как и там, на фронте.

Денщика у него не было, – не хотел брать, – и в дверь к нему, не постучав, вбежала квартирная хозяйка Марья Тимофеевна, непричесанная, полуодетая, растерянная.

– Что это? Николай Иванович? Кто это может?

Орудийные выстрелы раздавались один за другим так часто, рамы так крупно вздрагивали, что едва слышно было ее, хотя она кричала.

– Обстрел! – крикнул ей Ливенцев. – Десант, должно быть, немецкий... Вообще непонятно...

Она помогла ему надеть боевые ремни поверх шинели. Он переставил предохранитель своего браунинга на feu¹.

Марья Тимофеевна была старая дева, жившая квартирантами; по годам, пожалуй, немногим моложе его. Но теперь, непричесанная, неумытая, полуодетая, растерянная, испуганная, она показалась ему гораздо старше. Она как-то вся посерела от испуга; даже волосы ее, распущенные по плечам, обыкновенные русые волосы, какие могли бы быть у всякой Марьи Тимофеевны, стали как будто светлее.

Она бормотала:

– Вы же поберегитесь, Николай Иванович!.. Вы же поосторожней, пожалуйста!.. Не дай бог несчастья!.. Вы же смотрите!

И он обещал ей, усмехаясь:

– Буду, буду смотреть!.. Изю всех сил буду...

И выскочил на улицу.

А на улицах, на балконах, стояли такие же, как Марья Тимофеевна, полуодетые, иные и совсем в одних рубашках, с накинутыми на плечи одеялами, женщины, непонимающе жались одна к другой и слушали – слушали зычный разговор своих крепостных орудий с чужими пушками.

Когда проходил мимо Ливенцев, они кричали ему:

– Послушайте! Кто это? Что это такое?

Он отвечал уверенно:

– Это – немцы! Это всё немцы!

И быстро шел дальше, думая: «А может быть, и не немцы? Может быть, это бунт какой-нибудь, например во флоте, как было в девятьсот пятом году...»

Трамвай не действовал. Не было видно ни одного вагона.

Из переулкa вырвался извозчик, испуганно хлеставший лошадей.

– Эй, дядя! – крикнул Ливенцев. – В казармы Белостокского полка!

Извозчик отозвался, не остановившись:

– Рублевку! Скорее только!

Ливенцев добежал и сел, а извозчик кричал ему:

– И то это потому я только, что в ту сторону мне домой ехать!

И, продолжая хлестать вожжами лошадей, оборачиваясь, поблескивал откровенно злыми глазами в диких зарослях лица:

– Эх, штаны белые, черти! Вот спать какие здоровые!.. То Порт-Артур они проспали, то теперь Севастополь!.. Разворочают все к чертям! Одессу уж разворочали этой ночью, теперь – нас!

– Да кто это? Что это ты? О ком?

– Как так «кто это»? Немецкий флот это, какой у турков оказался, вот кто! «Уральца» утопили. «Донцу» тоже сделали конец. Половину Одессы разворочали этой ночью... А наши все только спят!.. Вот штаны белые!

Поскольку Ливенцев не носил белых штанов, то есть не был моряком, он не должен был обижаться, – так решал это дело извозчик. По крайней мере Ливенцеву теперь было ясно: обстреливали Севастополь немецкие крейсера, проскочившие в Константинополь в начале войны, – «Гебен» и «Бреслау».

¹ Огонь (франц.).

К себе в роту Ливенцев приехал раньше ротного, подполковника Пернатого, и тут ему пришлось самостоятельно решать очень важный, конечно в смысле сохранения людей, вопрос: держать ли ратников в казарме, или вывести их на двор.

Канонада продолжалась. Куда летели неприятельские снаряды – было неизвестно. Ливенцев представил, как снаряд большого калибра, уже окрещенный в те времена «чемоданом», разрывается над крышей казармы и убивает и калечит половину из доверчиво глядящих на него, стоящих вздвоенными рядами людей, и скомандовал:

– На двор! Марш!

А когда все выскочили на двор, скомандовал снова:

– Рас-сыпсь! – и, показав руками, что это значит, добавил: – Стадом не стой! Распылись по два, по три!.. Увидишь – летит снаряд, – ложись!

Вообще в этот день он старался говорить суворовским языком.

Снаряды в их сторону, правда, не летели, но ополченцы рассыпались, как ему хотелось, и так усердно глядели в небо, что не заметили, как появился среди них их ротный Пернатый.

Впрочем, ввиду такой боевой оказии он не потребовал, чтобы его встречали командой «смирно». Напротив, он сам в это утро был очень смирен и далеко не так речист, как обыкновенно. А когда ушли подбитые «Гебен» и «Бреслау» и молодые ратники были приведены к присяге, с молодою пылкостью он ходил подбирать осколки немецких снарядов вместе со своим прапорщиком.

Он появился в дружине в сентябре, вместе с двумя другими подполковниками из немцев – Эльшем и Генкелем. Он был высокий, сухой, тощий, весьма изможденный на вид. Руки и ноги – как палки, на длинном узком морщинистом лице хоть бы кровинка: мертвый пергамент. Череп начисто лысый. Нижняя челюсть сильно вперед; зубы вставные.

Говорил он с ратниками своей роты так:

– Ребята, старайсь!.. Старайсь, ребята, и зато к Рождеству я вас всех женю на таких красивых девках, что а-ах!.. И кто если женат, ни черта не значит, ребята: второй раз женю!.. Главное, старайсь! За царем нашим служба не пропадает! Вот я служил верой-правдой двадцать пять лет, вышел в отставку, дали пенсию... Ну, думаю, значит я уж больше не годен! Однако вот понадобился батюшке-царю опять! И теперь я грести буду, родная моя фея, по триста рублей в месяц!.. Вот так-то, отцы мои хорошие, ратники-ополченцы! Вот так и вы старайсь!

А в офицерской компании Пернатый любил декламировать «Энеиду», перелицованную Котляревским, особенно торжественно начиная:

Эней був парубок моторный
И хлопец хочь куды казак!

а также окончание пушкинского «Царя Никиты», которое написано было совсем не для дам и по этой причине не могло не презреть цензуры.

И когда заканчивал чтение, он, как артист, ожидал похвалы или за то, что у него отличная дикция, или за то, что у него хорошая память, а когда хвалили, говорил с чувством:

– Да! Был!.. Был конь, да изъездился! А был!.. Был, отцы мои хорошие, был конек горячий, а не так себе, какой-нибудь, абы что!

С ним в дружине примирились в первые же дни все, за исключением, конечно, поручика Миткалева, который до него командовал второю ротой и получал по триста рублей, а теперь должен был перейти на полтора; но к подполковникам из немцев отнеслись подозрительно все, начиная с самого Полетики.

Однако приземистый Эльш оказался очень добродушен, да в первые дни осторожно и очень уступчиво держался и Генкель. Но чем дальше, тем больше развешивался и показы-

вал свою многогранность этот синеголовый и пышущекрасный лицом, толстый и тяжелый, не легче шести пудов, в дымчатых очках, скрывавших косоглазие, и с сизым носом.

Служил он, как оказалось из его послужного списка, в жандармах, о чем, многозначительно подмигивая, сообщил всем адъютант, зауряд-прапорщик Татаринцов.

В дружине привыкли к тому, что полковник Полетика ничего совершенно не знал, все и вся путал и ничего не хотел знать, а заведующий хозяйством, подполковник Мазанка, во многом сомневался и обращался к другим за советами.

Генкель, как оказалось уже недели через две после появления его в дружине, все знал, ничего не путал и ни в чем решительно не сомневался. Когда, после обстрела Севастополя, ввязалась в войну Турция и стали поговаривать о том, что Персия тоже готовится выступить на стороне Германии, то Генкель, попыхивая сигарой, говорил с большой серьезностью:

– Это для нас очень была бы неприятная история, господа! Персия – большая страна. Там двадцать восемь миллионов населения!

– Вот туда, к черту! – удивлялся Полетика. – Двадцать восемь? Гм... Откуда же могло их набраться столько, этих... этих, как их... Скажите, пожалуйста, как их оказалось много!..

– Да. Двадцать восемь миллионов... Считайте десять процентов на армию, – получается почти три миллиона человек – армия! И нам с нею придется иметь дело, господа.

– Но ведь три-то эти миллиона, они ведь необученные! – пытался возражать Мазанка.

– Ничего! Немецкие инструкторы обучат... Да, наконец, они ведь просто могут влиться в турецкую армию, а она-то уж обучена Гольц-пашой...

Так же авторитетно говорил он и о всем другом, о чем угодно. Он оказался крымский помещик: под Курманом, где плотно осели с давних пор немцы, было его имение.

Он был полная противоположность не только Пернатому, но буквально каждому из офицеров дружины, так как единственный из всех он ретиво начал вводить всюду порядок, строго придерживаясь уставов и внеуставных распоряжений высшего начальства.

Он неукоснительно следил за тем, чтобы ратники, как и другие «нижние чины», не занимали мест внутри вагонов трамвая, а только на задней площадке, чтобы они были застегнуты на все пуговицы, чтобы они отдавали ему честь, как штаб-офицеру, становясь во фронт, хотя по закону о призванных из отставки он должен был носить капитанские погоны, и другие подполковники дружины иногда забывали на улице о том, что им должны становиться во фронт.

По настоянию Генкеля заведена была дружинная лавка в одном из подвалов казармы, а в этой лавке должно было продаваться все, что было необходимо ратникам, начиная с чая и сахара и кончая ваксой. В лавку Генкель устроил продавцом бывшего бакалейного торговца из ратников своей роты, а главное, заведение лавкой великодушно взял на себя. Так были им лишены заработка многочисленные бабы, продававшие ратникам около казармы своего печенья коржики, бублики и пирожки.

Но другие бабы проникали во двор казармы за кусками хлеба и помоями, сливавшимися в бочки.

Генкель заявил как-то Полетике, очень вежливо, правда:

– Как хотите, господин полковник, но ведь это же совсем невозможная какая-то вещь, хе-хе!.. Бабы... вполне свободно... как к себе домой, заходят в казармы, нагружают до отказа свои ведра и, представьте, на коромыслах у всех на виду разносят помой по своим хозяйствам!.. Но ведь они же вносят в казарму разврат!

– Ну, ну! Разврат!.. Что вы там говорите, – разврат! – слабо защищался Полетика.

– Как хотите, конечно, но... меня это, признаюсь, ошеломило!.. Мне кажется, – позвольте просто высказать мне свое мнение, господин полковник, – что это надо бы прекратить. Начальство может об этом узнать, и тогда, знаете ли... Гм... Мне просто хотелось бы указать на это... на этот маленький непорядок, хе-хе... А ведь здесь недалеко свалки. Можно просто вывозить помой на свалки, и будет хорошо.

– Помои, да... Они, конечно, воняют тут... А бабы, они вроде... вроде... как это называется, а?

– Проституток?

– Ну вот, – сказали тоже! Каких там проституток, когда они просто бабы! Они идут с помоями, и от них воняет, а вы... Как они называются, черт их знает!.. Вот эти, в лазаретах... в белых халатах...

– Сестры милосердия?

– Да не сестры, а... также они и в санитарных вагонах... Санитарки, да, вот что я хотел сказать... убирают всякую вообще сволочь в помойную яму, горшки там ночные и прочее... Так вот и эти бабы... И вечером у нас во дворе все бочки чистые, я сам видал. А тут вдруг... что вы такое сказали? Выносить бочки? Куда выносить?.. То есть вывозить! Куда?.. Послушайте, с вонючими такими бочками, кто же с ними будет возиться? Что вы мне тут такое... Вильгельм... как? Аполлоныч?

– Я? Оскар Карлович, господин полковник.

– Ага! Вы – Оскар, а это, стало быть, Эльш – Аполлон?

– Он, насколько мне известно, Ипполит Вильгельмович... Но вопрос о помоях я мог бы взять на себя лично. Прикажите это делать артёлке моей роты, и она их будет вывозить каждый день, эти помои. Заведем для этого бочку такую, лежачую, вроде водовозной, и всё. Ведь лошадь ротная все равно ничего не делает целый день, только жрет и жиреет.

– Ну, как знаете! – отмахнулся от него, как от надоевшего овода, Полетика.

И вот артёлка третьей роты, которой командовал Генкель, начала ежедневно вывозить из казарменного двора помои.

До назначения в дружину Генкеля третьей ротой командовал поручик Кароли, а субалтерном его был длиннорыжебородый зауряд-прапорщик Шнайдеров, бывший учитель. Этого рыжего Шнайдерова совершенно не переваривал Кароли, прозвавший его за бороду Метелкиным.

– Да ведь это – сплошной дурак, – накажи меня бог, правда! – говорил он о нем Ливенцеву, отходя на ученье к нему от своей роты. – Что он мне ратников мучает? Ведь я же им дал «оправиться», а он им начал замогильным своим голосом устав гарнизонный читать! Обязанности дежурного по полку офицера им читает... Накажи меня бог, из этих учителей никогда я ни одного умного человека не видал! Ну, на кой им черт обязанности дежурного офицера? Тебя если сделали зауряд-прапором, так ты, покорнейше благодарим твою мамашу, и учи себе эти обязанности наизусть, а им зачем? Вот проклятая мельница пустая! И гудит, и гудит, и гудит, в печенку, в селезенку, в корень!.. Гудит замогильно, а у меня аж тоска, у меня тоска!.. Ну, дали им оправиться, и пусть оправляются, а чего же ты гудишь? На какую такую пользу веры-царя-отечества, чтоб тебя разорвало на три части!..

Теперь Кароли, передав роту Генкелю, стал ведать, как юрист, исключительно дознаниями по части самовольных отлучек; он же должен был, по приказу Полетики, находить необходимые справки в «Своде военных постановлений» за 1869-й и прочие годы. А Шнайдеров пришлось под стать новому командиру и ревностно, вполне поощряемый к этому Генкелем, проходить с ратниками из устава «обязанности дворцовых часовых» и «порядок зари с церемонией в присутствии их императорских величеств».

Генкель оказался так строг к ратникам, что дружинный карцер, прежде почти пустовавший, теперь был битком набит ратниками его роты. Он часто писал рапорты Полетике то на того, то на другого из своих ратников, добавляя на докладе, что такого-то и такого-то надо бы отправить на гарнизонную гауптвахту. И добивался того, что Полетика объявлял в приказе об аресте на гауптвахте то того, то другого из третьей роты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.